Горячие руки

Василий Павлович Козаченко

SHOUT
SHARE
IT

- Козаченко Василий Павлович

Козаченко Василий Павлович
Горячие руки

Василий Павлович КОЗАЧЕНКО
ГОРЯЧИЕ РУКИ
Я на сторожі коло іх Поставлю слово...
Тарас Шевченко
Перевод автора
1

Его бросили к нам ранней весной страшного сорок второго года.

Белокурый и сероглазый, с лицом открытым и задорным, какой-то нездешний, появился он неожиданно на пороге "салона смерти".

Особенно остро поразила нас, привыкших видеть вокруг только искаженные ненавистью, страхом или муками лица, его широкая, по-детски искренняя улыбка. Улыбка, с которой и началась эта необычайная даже для гитлеровских концлагерей история.

Истощенные, вконец обессиленные, мы уверены были в то время, что дотягиваем свои последние дни. Уже ни на что не надеялись, ничего не ждали. О том, что люди могут улыбаться, да еще вот так широко и беззаботно, мы просто забыли.

Мы - остатки ранее довольно большого лагеря советских военнопленных. Двадцать два неопределенного возраста, высохших, обессиленных человека.

"Салон смерти" - комната для доярок с одним окном, небелеными стенами и потолком в большом, крытом соломой колхозном коровнике. В углу этой комнаты была наскоро сложенная из кирпича плита, на которой когда-то грели воду, и над ней широкое окно, где уцелело только одно верхнее стекло. В плите еще и теперь можно было развести огонь. А окно наглухо забито досками, и щели между ними законопачены соломой и какими-то истлевшими лохмотьями. Раньше, когда пленных было еще много и попасть в эту закрытую комнату большинство из нас могло лишь в мечтах (попадали сюда совсем слабые, тяжело раненные смертники), кто-то из мрачных острословов, которые встречались даже в таких условиях, назвал это помещение "салоном смерти"...

Еще с лета сорок первого года, после печально известного уманского окружения, под крышей коровника, превращенного гитлеровцами в концлагерь, томилось, наверное, несколько сот

голодных, тяжело, а то и смертельно раненных пленных. А теперь осталось в живых только двадцать два.

Голод, донимающие осенние холода, лютые морозы, вши, гангрена, тиф, цинга, дизентерия и множество других болезней сделали свое дело. И вот теперь все те, кто еще остался в живых, разместились довольно свободно в "уютном" "салоне смерти".

До поздней осени, пока не оставили людей последние силы, нас согревали горячие надежды, придавала сил твердая вера в себя и в неминуемое спасение.

Мы верили в то, что нас поддержит местное население, пока вернется Красная Армия, или развернут борьбу партизаны. Или, наконец, подлечившись, набравшись сил, мы организуемся и освободимся сами.

Однако время, казалось, работало не на нас...

Гитлеровцы, с наглой развязностью "покорителей мира", устроили концлагерь в самом центре районного местечка Терногородки у дороги между Уманью и Кировоградом.

Одной стеной наш коровник выходил на главную улицу села, к мощеному шоссе. Фасадом повернут был к просторному двору, на углу которого, между шоссе и узким переулком, стоял большой, на две половины, крытый железом дом. Глухой же стеной коровник тянулся вдоль размытого талыми водами неглубокого оврага. За противоположной от улицы узкой стеной - голый участок огорода, вытоптанный скотом песчаный берег, речка, и за ней, почти до самого горизонта, - степь.

Весь обширный прямоугольник с домом и коровником гитлеровцы обнесли двойной высокой оградой из колючей проволоки. Потом такой же, но уже одинарной оградой, с калиткой посередине, отгородили коровник от дома. И, оставив ворота против дверей, обнесли проволочной оградой еще и сам коровник. Наконец, посреди площадки, которая образовалась в центре между двумя оградами, чуть ближе к калитке, вкопали гладко обструганный, низко подпиленный телеграфный столб.

Строили все это старательно, аккуратно, прочно, казалось, на десятки лет.

В доме поселился комендант и эсэсовская охрана лагеря. За домом, над самым шоссе, выросла высокая, раскоряченная, сбитая железными скобами из толстых горбылей пулеметная вышка.

О каком-либо контакте с местным населением не могло быть и речи. Женщин и детей, которые пытались через ограды передавать или перебрасывать нам еду, эсэсовцы сначала разгоняли, а когда это не помогло, начали стрелять прямо в толпу.

Увидев однажды белоголового мальчика в солдатской гимнастерке, повисшего на проволоке с простреленной грудью, а на следующий день - труп пожилой женщины на мостовой, мы поняли, что единственной едой для нас, да и то изредка, остается только подмерзшая сахарная свекла.

А Красная Армия так и не возвращалась. Пока что она отходила от нас все дальше и дальше на восток...

Партизаны?.. Кажется, нам очень не повезло и с этой последней нашей надеждой...

Сначала, где-то в конце сентября, гитлеровцы тщательно прочесали весь район, задержали и расстреляли несколько сот советских граждан. Расстреляли всех активистов, всех бывших партизан восемнадцатого года, всех, кого подозревали в принадлежности к Коммунистической партии.

Гитлеровская метла была очень густой, мела подряд, с тем расчетом, чтобы выловить и уничтожить всех, кто хоть и не был, но мог быть участником партизанской или подпольной борьбы с оккупантами. Вот почему с глубокой печалью и сожалением думали мы, что с уничтожением такой большой группы людей района почти полностью погиб отряд самых активных народных мстителей. А среди них могло быть немало тех, кого специально оставили в подполье... И вот они погибли, не успев даже начать борьбу...

Однако за первой шеренгой бойцов, за первой волной, которая разбивается о скалы, неминуемо накатывается вторая, еще выше...

И действительно, во время Октябрьских праздников сорок первого года в области произошло несколько одновременных и, казалось, организованных партизанских выступлений. Выступления эти были пока что больше демонстративными, чем чувствительными для немцев, а все же оккупантов они застигли врасплох и не на шутку напугали. В одну ночь во многих районах были расклеены и разбросаны советские листовки; над крышами нескольких учреждений вспыхнули красные флаги; в трех гитлеровских районных комендатурах взорвались гранаты, ранив, к сожалению, только одного коменданта, а в самом "гебите" - уездном центре - расстрелян был предатель - начальник вспомогательной полиции.

Гитлеровцы ответили на это жестокими репрессиями:

массовыми арестами и расстрелами, сожжением большого села и виселицами.

В сплошной облаве в одном из самых глухих сел попали в жандармское кольцо и пять товарищей из районной руководящей верхушки - пять организаторов народной борьбы с гитлеровцами

во главе с первым секретарем Терногородского райкома партии. Они отстреливались из подожженной и охваченной огнем хаты до последнего патрона. И уже только их изуродованные и обгоревшие до неузнаваемости трупы жандармы подвесили на виселицу, возведенную посреди базарной площади в райцентре.

Так погибла в районе вторая группа бойцов, а самому движению сопротивления нанесен был, казалось, непоправимый, чуть ли не смертельный удар.

И надолго, неизвестно на какое время, все утихло.

Гнетущая, свинцовая тишина залегла над оккупированным селом, над нашим концлагерем.

Потянулись короткие, тусклые дни - и нескончаемо долгие, непроглядно темные осенние ночи. Вокруг только черная, холодная земля, а вверху мутное, набухшее, свисающее, казалось, над самой головой небо.

Хмурую осень сменила лютая зима с трескучими морозами. Голод, холод, болезни и пули немецких охранников начали косить нас целыми десятками.

Одна за другой, как обмороженные, увядали и осыпались, не успев расцвести, наши надежды. Страшный концлагерь высасывал из нас последние капли сил, холодил кровь и замедлял биение сердец. Теперь каждый наш шаг, каждое движение требовало почти героических усилий и отнимало последние остатки энергии.

С нами оставалась только острая, как тончайшее стальное лезвие, и жгучая, как огонь, ненависть. Если бы эту ненависть можно было собрать, как солнечные лучи в стеклянной лупе, она прожигала бы насквозь и поражала бы насмерть. Она была такой жгучей, что, может, одна только и согревала нас, держала на свете, спасала от смерти.

Эта безграничная ненависть ко всему пришлому, оккупационному, ко всему фашистскому сконцентрировалась теперь на ближайшем к нам олицетворении всего этого - коменданте Иоганне Рудольфе Пашке... И можно было только удивляться тому, что он еще ходил по нашей земле и не падал, насмерть пораженный раскаленными добела стрелами ненависти, которые летели из наших горячих глаз!..

2

Но гауптшарфюрер войск СС Иоганн Рудольф Пашке не падал. Он продолжал топтать нашу святую землю довольно-таки самоуверенно и надменно.

Среднего роста, плотный, но подтянутый, он не ступал, а, рисуясь, словно пружинил обутыми в хромовые сапоги ногами. Посаженная на короткую шею голова блестела узкой, ото лба

через все темя и чуть не до затылка, продолговатой лысиной. Лысина прикрывалась огромной, точно сито, залихватски выгнутой эсэсовской фуражкой, и неширокий чистый лоб почти весь прятался под лакированным козырьком. Удлиненное лицо с ровным, четко очерченным носом и большими холодными глазами портили только тонкие, сердито сжатые губы и тяжелый, деланно, подчеркнуто тяжелый, презрительный взгляд.

Если вспомнить еще офицерский френч с большими накладными карманами, орденскую ленточку в петлице, черный, широкий ремень на животе, тяжелую черную кобуру парабеллума, погоны старшего унтер-офицера и короткую, толстую резиновую дубинку в руке, то о внешности гауптшарфюрера будет сказано почти все. Правда, зимой он еще носил теплую, на вате, офицерскую шинель с воротником какого-то темно-рыжего зрзац-меха.

Вместе с Пашке в другой половине дома под железной крышей размещался его гарнизон: два помощника в чине унгершарфюрера и пять рядовых эсэсовцев. А неполный взвод мздьяр-хортистов, который также охранял лагерь, располагался напротив, через улицу. Набранный из разного сброда десяток местных полицаев выходил на дежурство прямо из дому.

Гарнизон, охраняя нас, больных, истощенных, голодных и замерзающих, имел на своем вооружении два станковых и несколько ручных пулеметов, автоматы, гранаты, винтовки и собак-овчарок...

Сам Пашке на территории нашего огороженного коровника появлялся не иначе, как в сопровождении огромного серого волкодава на поводке, одного из своих помощников, полицая с винтовкой и хортиста с автоматом.

Должность свою комендант считал, наверное, очень высокой, а своей ролью владыки жизни и смерти сотен людей откровенно кичился. Чувство неограниченной власти опьяняло его и не раз толкало на необдуманные, изредка даже... "гуманные" поступки. Но в таких случаях всегда спасал его от опасности погрешить перед своим фюрером, все уравновешивал железный, впитанный с молоком матери прусский педантизм. Педантизм этот проявлялся во всем, начиная от зеркально-начищенных сапог и до тех порядков, которые установил в подвластном ему концлагере гауптшарфюрер.

Лагерь наш был хоть и явно временным, а все же лагерем смерти. Все здесь, в конечном итоге, должны были умереть. Но даже в лагере смерти, даже отправляя нас на тот свет, Пашке сурово и педантично придерживался раз навсегда заведенных правил. И умирать люди должны были только согласно с этими

правилами.

Там, в самом коровнике, несмотря на то что он без потолка, стоит нестерпимый смрад, там кишат вши, не только в одежде, но и в перетертой соломе на земляном полу. Однако это совсем не должно мешать тому, чтобы пространство перед коровником, площадка вокруг вкопанного в землю столба, дорожки к дому и к воротам были всегда старательно подметены, зимой расчищены от снега да еще и посыпаны речным чистым песочком.

Кормил нас Пашке чаще всего мерзлой сахарной свеклой, так же строго придерживаясь однажды установленного режима. Подвода со свеклой въезжала во двор ежедневно: первый раз - ровно в девять часов утра и второй - ровно в четыре дня. И никогда - позже или раньше.

Зимой, в лютые морозы, когда долбить ямы в мерзлом грунте было почти невозможно, трупы умерших или расстрелянных лежали незахороненными до тех пор, пока их не наберется не менее двадцати. Трупы, по категорическому приказу Пашке, должны быть обязательно раздетыми, вынесены за ворота на главную улицу и сложены аккуратным штабелем под оградой. Так и лежали эти жуткие штабеля на морозе по нескольку суток, наводя ужас на все село.

Особенно же педантичность Пашке проявлялась в придумывании бесчисленных надоевших и бессодержательных правил жизни и поведения пленных. Можно сказать, что он был настоящим поэтом предупреждений и предостережений. От слов "Halt" [Стой (нем)], "Verboten" [Запрещено (нем)] и "Todt" [Смерть (нем)] на территории лагеря и вокруг него даже в глазах рябило. Запрещалось, и никак не меньше, как только под страхом смерти: подходить к проволочной ограде ближе, чем на пять шагов; к немецкому начальству, если оно появлялось за оградой, ближе, чем на шесть шагов.

Запрещалось также печь или варить свеклу без чрезвычайной необходимости и специального на то разрешения, разжигать, даже в самые лютые морозы, костры, вырывать из стрехи солому, выламывать слеги из крыши коровника, отправлять естественные надобности не в указанном месте, переговариваться с людьми через проволоку и еще многое и многое другое.

Все предупреждения выписывались густой черной краской на заранее заготовленных фанерных дощечках.

И выписывались большей частью старательной и аккуратной рукой самого Пашке.

Предупредив и удовлетворив таким образом свое пристрастие к порядку, Пашке уже, вероятно, с легкой Душой постреливал из парабеллума по живым мишеням.

Стрельбу по людям он превратил в своеобразный спорт для собственного развлечения. Подчиненные его могли действовать плеткой, вчетверо сплетенной из проволоки, палками, прикладами автоматов и винтовок, каблуками сапог. А стрелять - только в исключительных обстоятельствах и в крайнем случае. Они, правда, развлекались еще и тем, что натравливали на пленных злых волкодавов, которые впивались в икры и вырывали куски тела, как настоящие волки. Но стрелять в человека, который беспечно приблизился к ограде на недозволенное расстояние, любил сам гауптшарфюрер Пашке. Это было лишь его право, его забава, которую он, шутя, называл "маленькой войной".

Иногда, если жертва не хотела умирать и оказывала сопротивление или кто-нибудь пытался бежать из лагеря (а осенью, когда у нас еще сохранилось немного сил, это бывало нередко), гауптшарфюрер устраивал по такому поводу настоящие "представления"

Первым делом того, кто провинился или поднял руку на арийца, вне программы, избивали до крови и потери сознания. Потом его привязывали к столбу, вкопанному посреди лагеря, и выстраивали у стены коровника весь лагерь. Выходить должны были все: живые, полуживые, Тех, кто не держался на ногах, должны были поддерживать товарищи. Люди часто простаивали на лютом морозе по нескольку часов, а иногда и целый день. И пока они, стоя, мерзли на ледяном ветру, под теплой крышей комендантского дома готовился пышный велеречивый и на пыщенный приказ. О силе и мощи третьего рейха, который в веках будет существовать на нашей планете, повергнув себе под ноги разные там мизерные племена и народы. О мудрости фюрера. О деснице провидения, которая безжалостно, с точностью автомата карает каж= дого, кто только попытается поднять руку на представителя третьего рейха, доверенную особу самого фюрера или на его законы. И о том, что любая подобная попытка будет заранее обречена на провал самим всевидящим арийским богом.

В назначенное время во дворе выстраивалась также вся свободная от нарядов комендантская команда.

В торжественной тишине через переводчика оглашали именем фюрера и третьего рейха приказ и тут же исполняли приговор. В большинстве случаев и здесь виновного выстрелом из парабеллума убивал сам комендант.

После этого, уже без приказа, расстреливали еще нескольких пленных на выбор, по два-три с правого или левого фланга. И, под конец, остальных загоняли в коровник, лишая на сутки, двое или трое (в зависимости от случая и настроения) еды, воды, и

даже снега, и права растапливать печку в "салоне смерти"...

А впрочем, есть ли необходимость пояснять и далее, почему из сотен людей, населявших наш лагерь, к концу марта сорок второго года осталось нас всего двадцать два?..

Теперь мы все свободно размещались в закрытом "салоне смерти", хотя это уже не возбуждало в нас никаких чувств. "Салон смерти" как "салон смерти"!

Кое-кто из нас еще мог слабо двигаться. Правда, очень вяло, через силу, как весенние мухи. А многие уже и не поднимались с перетертой за зиму ржаной соломы, которая всем нам должна была стать последним, смертным ложем.

Человек - пока он живет - все еще на что-то надеется. Но наше положение назвать жизнью в любом смысле было трудно. Это уже была агония, последняя степень безразличия к себе, к своим желаниям, надеждам. Ибо не хватало уже сил даже думать и надеяться. И взгляды наших, теперь необычайно больших на высохших лицах, помутневших от страданий глаз могли потянуться разве только к теплому, привораживающему поблескивайте огня в плите, если его удавалось разжечь.

В тот мартовский день, когда в нашем лагере появился он, юноша, о котором пойдет рассказ, во дворе ослепительно светило солнце, вызванивали и журчали весенние ручьи, остро, возбуждающе пахло оттаивающей землей и горьковатой свежестью вербы.

Да нам было не до этих запахов. Потому что чувствовали мы только надоевшую холодную сырость, которая обычно пронизывала наши беззащитные тела до самого нутра. И холодное, хотя и яркое, мартовское солнце не могло, не в силах было согреть нас. Оно только ослепляло.

В обед кому-то из более крепких заключенных удалось обмануть бдительность полицаев и утащить с крыши несколько пучков почерневшей соломы и сухих вербовых слег. В плите запылал веселый, животворный огонь, во влажном воздухе "салона смерти" запахло печеной свеклой. И никто почему-то не препятствовал нам, не лишал нас этого маленького счастья, никто даже не заглянул за прикрытые, сбитые из неструганых сосновых досок двери.

Все мы неподвижно, оцепенев, лежали на соломе, повернувшись лицом к плите, и только живые отблески трепещущего пламени тревожно мерцали в наших широко раскрытых, немигающих, словно остекленевших глазах.

Никого и ничего хорошего для себя мы не ждали в эту минуту. К нам мог заскочить разве что полицай с приказом погасить огонь. Но и это нас теперь уже не беспокоило и не

пугало.

3

Тяжелая дверь нашего "салона смерти" на толстых, кованных в сельской кузнице петлях сильно и неприятно скрипела. Мы давно уже привыкли к этому неприятному скрежету и совсем не обращали на него внимания.

Так было и на этот раз... Когда дверь вдруг резко заскрежетала и потом как-то неожиданно, будто на полуслове, скрежет затих, никто из нас даже и головы в ту сторону не повернул.

Из гулкой, холодной пустоты уже наполовину ободранного коровника потянуло острым ветерком. Минуту стояла глубокая, настороженная тишина. И вдруг ее разорвал звонкий, бодрый и... приветливый голос:

- Здравст-т-т-вуйте, товарищи!

Приветливый незнакомый голос и слово "товарищи"!

Если бы из глиняного потолка внезапно ударил весенний гром, он, наверное, поразил бы нас, давно привыкших к самым неимоверным и самым страшным неожиданностям, значительно меньше.

Потухшие глаза наши невольно загорелись любопытством, и все, кто еще только мог повернуть голову, обратили свои взгляды на дверь.

В прямоугольнике раскрытых дверей стоял удивительный, нездешний, бесспорно пришедший из какого-то иного, настоящего мира незнакомый парень. Не полицай, не мадьяр, не немец, но и не пленный. Позади парня, сквозь дыры в крыше коровника, били в землю ослепительно яркие столбы солнечных лучей. На минуту показалось, что он спустился к нам откуда-то именно по этим столбам. И мы смотрели на него с изумлением и недоверчивой боязнью, как на какое-то необычайное явление, степное марево, плод нашего больного воображения, которое через какое-то мгновение исчезнет бесследно так же неожиданно, как и появилось.

А он все еще стоял в дверях и, широко растягивая полные губы большого волевого рта, улыбался как-то задорно и в то же время жалостно.

На голове у юноши кругленькая кроличья шапчонка.

Из-под шапчонки на гладкий, но уже с глубокой бороздкой лоб спадают густые кудри буйного русого чуба.

Почти белые, широкие брови, большие серые веселые глаза. Твердый, четко очерченный подбородок, румяные, чуть впалые щеки и заметные, упрямые выдающиеся скулы. И еще - курносый, смелый, задорный нос.

Невысокий, но, видно, жилистый. Кисти длинных рук, непомерно большие, привыкшие к работе, покраснели от холода. На нем коротенький дубленый, не первый год ношенный кожушок, туго подпоясанный солдатским рем"

нем, зеленые солдатские брюки и солдатские кирзовые сапоги.

В правой руке крестьянская полотняная торба, набитая чем-то чуть ли не под самую завязку.

Постоял вот так какую-то минуту пришелец - ему, видно, было не больше двадцати пяти, - овеянный молодостью и мартовским солнцем, и, не дождавшись от нас ни единого слова в ответ, неохотно пригасив улыбку, вдруг помрачнел, будто на его лицо упала тень пробегающей тучки.

- Т-т-а-а-ак! Невесело живется вам, товарищи!

Порывисто переступил через порог, подошел к плите и бросил свою торбу на почерневшую, истертую доску, служившую нам столом.

Мы неотрывно следили за ним глазами, видели, что происходит что-то необычайное, невиданное, и ничего не могли понять.

А он уже разрывал своими большими, красными руками на ровные небольшие куски ржаную буханку и совал их по очереди ках"дому из нас. Разломав первую, взялся за вторую. И все же не рассчитал, хлеба на всех не хватило. Тогда он достал из торбы десяток выпеченных из кислого теста пышных деревенских пирожков. Взял один на ладонь, осмотрел зачем-то его, немного поколебался н, быстро разломав пополам, выковырнул и высыпал из него на расстеленную торбу начинку.

И снова широко и жалостно улыбнулся.

- Вам, то-в-в-арищи, фа-а-соли сейчас нельзя, - пирожки, оказывается были с вареной фасолью. -М-может очень повредить.

Нет, он не заикался, только разговаривал несколько замедленно, растягивая некоторые буквы и отдельные слова, как человек, получивший контузию. Когда разносит разломанные и выпотрошенные от фасоли пирожки, тянул левую ногу. Нам сразу бросилось в глаза, что она у него не сгибается в колене.

Раздал нам все, что у него было, оставив при себе пустую торбу и кучку начинки из вареной фасоли. Оперся плечом о стену и теперь уже довольно улыбнулся.

И кто бы там что ни говорил, но это было настоящее ошеломляющее своей неожиданностью чудо. Мы - кто лежал, а кто уже и сидел на соломе смотрели на при ветливого пришельца, который неизвестно откуда и как здесь очутился, держа в руках куски настоящего пахучего, такого пахучего, что у нас даже дух

захватило, ржа кого, сытного хлеба. Хлеба, которого мы не видели даже издали вот уже несколько месяцев.

- Ешьте, тов-варищи, прошу... Не беспокойтесь, Яринка обязательно передаст еще, об-бязательно! Она чуд-десная, чтоб вы знали, дивчина Яринка...

И мы, веря и не веря, слушали, удивляясь и ничего не понимая в том, что произошло и при чем тут чудесная девушка Яринка; как завороженные, покорились, схватили каждый свой кусок и набили себе полные рты чем-то невыразимо сладким, необыкновенно духовитым и мягким...

Один только двадцатилетний украинец Володя Сибиряк, прозванный так потому, что и вправду был родом из Сибири, лежал, как и перед тем, неподвижно. Хлеб держал, сжав в кулаке, близко у самого рта, но не ел. Не мог есть. Не воспринимал уже, наверное, померкшим сознанием, что у него в руке хлеб, не знал, что с ним делать. И только тяжело, с хрипом вдыхал впалой грудью свежий запах хлеба. На запекшихся, тонких, как шнурки, губах его играла слабая детская улыбка, а из широко раскрытых больших глаз, которые бессознательно уставились в потолок, одна за другой выступали и скатывались по желтым, запавшим щекам круглые, прозрачные горошинки слез. Должно быть, острый запах свежего хлеба вызвал в угасающем сознании дорогие видения родного края, и, может, в это мгновение перед его потухшими, немигающими глазами возникли родной дом, родители, любимая девушка... И мы, заметив эти слезы и эту слабую улыбку, уже не хотели тревожить парня.

Да и сами мы были словно оглушены или заворожены.

Молча, с голодной жадностью глотали самый сладкий, какой мы только ели когда-либо в жизни, хлеб, каждый из нас боялся одного - очгуться, боялся, чтобы все это не оказалось са:,1ьтм обыкновенным голодным сном.

Конечно, можно было просто расспросить этого внезапно появившегося парня, кто он, откуда и как попал сюда, за эту колючую ограду. Но это нам тогда и в голову не пришло...

И пришло не скоро.

Потому что тот день валил на наши головы одну неожиданность за другой и задавал нам такие загадки, разгадать которые мы были не в состоянии.

Не успели мы прийти в себя от удивления, не успел развеяться запах ржаного хлеба, как дверь снова широко распахнулась, и два полицая, сопровождаемые помощником коменданта унтершарфюрером Баэром, овчаркой и хортистом в желтой шинели, внесли в "салон" на толстой палке огромное, закопченное черное ведро. И было в этом ведре что-то горячее,

так как над ним клубился белый пар и снова наполнил "салон смерти" кислым запахом ржаного хлеба.

- Эссен, эссен, ферфлюхтен швайн! [Ешьте, ешьте, проклятые, свиньи! (нем.)] - гаркнул Баэр.

- Эссен! - повторил хортист.

- Гув, гув! - вслед за ними залаял злющий волкодав.

В ведре была заварена на воде хорошо прокипевшая баланда из настоящих ржаных отрубей. Знакомое нам уже, но в последние зимние месяцы почти не виданное лакомство!

Удивительно! С чего бы это так расщедрились немцы?!

Но как бы там ни было, а что-то горячее было нам сенчас, как никогда, кстати. И, долго не раздумывая, мы взялись за свои уже давно не употреблявшиеся и заржавевшие жестянки из-под консервов.

Несколько ложек горячей баланды совсем разморили нас. Обессиленные и истощенные, мы просто опьянели от еды. И уже словно сквозь сон слышали какой-то необычный шум во дворе: команды Пашке, выкрики полицаев и глухой лай овчарок.

Оглушенные, молча смотрели мы из-под тяжелых век сонными глазами на то, как под полуразрушенной крышей коровника ближе к вечеру расположилась целая толпа каких-то одетых кто во что горазд, новых, шумливых людей - в шинелях, кожушках, а то и в стареньком пальтишке или свитке. У всех были с собой торбочки или сумки с едой. Новички курили цигарки из ядовитого самосада и переговаривались свежими, бодрыми, непривычными тут голосами. Снова нас угощали хлебом, луком, пирогами и даже солеными огурцами и яблоками.

Однако наш "старый" знакомый, сероглазый парень с русыми кудрями, вдруг строго и категорически запретил нам съесть хоть кусочек чего-нибудь:

- В-в-вам это только по-о-вредит! Слышите вы, товварищи! Это опасно!

И отобрал, спрятал в свою торбу все, что кому досталось.

Он ни с того ни с сего начал просто командовать нами, приказывать, а то и покрикивать. А мы, вместо того чтобы удивляться, восприняли это как должное и подчинялись парню, как малые дети, точнее, как больные распоряжениям врача. Да, впрочем, такими вот больными мы и были на самом деле.

Он остался с нами и на ночь, не присоединившись к тем, которых пригнали к вечеру. Места в "салоне смерти" было достаточно, и теперь нас там было уже двадцать три.

4

А наутро снова осталось двадцать два.

Ночью тихо умер, так и не приходя в сознание, Володя

Сибиряк. Мертвый, он лежал с широко раскрытыми глазами, с застывшей улыбкой на высохших губах и с зажатым в костлявой детской руке кусочком хлеба. Вынесли его новоприбывшие товарищи. У нас на это уже не было сил. Их у нас, да и то лишь у некоторых, хватило только на то, чтобы выползти за ним и проводить мертвого побратима на залитый утренними розовыми лучами двор.

То, что мы увидели во дворе, снова поразило и до крайности удивило нас. Правда, сегодня было первое апреля, как мы узнали от прибывших, однако то, что творилось у нас на глазах, никак не вязалось с первоапрельской шуткой.

На улице у самой ограды толпились женщины и дети.

Люди заглядывали сквозь проволоку во двор, суетились, что-то кому-то кричали, а потом притихли и начали выравниваться в длинную очередь вдоль ограды. И оккупанты не кричали на них, не стреляли и не спускали с поводков злых волкодавов. Да только ли это! В воротах стоял сам командир мадьярского взвода и отбирал у женщин передачи, просматривал и потом отдавал полицаям, которые уже непосредственно вручали их заключенным.

А в стороне, совершенно равнодушный и спокойный, словно так и надо, стоял гауптшарфюрер Иоганн Рудольф Пашке, и свирепый волкодав также спокойно лежал у его ног.

Нет, в самом деле, что это вдруг произошло с гитлеровцами?

Но с этим запоздалым вопросом нам пока что не к кому было обратиться. Вновь прибывшие (теперь мы увидели, что было их, наверное, с полсотни) разбрелись по двору, стояли группками ближе к воротам, ожидая передач, а наш вчерашний русый спаситель вцепился руками в колючую проволоку и, забыв обо всем на свете, оживленно переговаривался с круглолицей бойкой девушкой, стоявшей по ту сторону двойной проволочной ограды и сверкавшей темными, искристо улыбающимися глазами.

Вероятно, это и была упоминавшаяся вчера "чудесная дивчина Яринка". Как раз между ней и парнем на одном из кольев ограды была прибита фанерная дощечка, а на ней предупреждение о том, что подходить сюда запрещено и что нарушитель, который попытается подойти, будет наказан смертью.

Странно! Почему терпел такое нарушение Пашке?

Почему не разрядил им в спину свой парабеллум?..

И снова в тот же день были вдобавок к печеной, а не сырой свекле хорошо сваренные отруби, да еще свежий хлеб, пирожки, сочные головки лука, чеснок и даже табак.

Но... пока мы наблюдали в лагере и на улице эти

необычайные события, в "салоне смерти" навеки уснул еще один наш товарищ - старшина стрелковой роты, бывший тракторист Павло Репьях. И ни крошки сегодня не могли взять в рот истощенные молодые парни узбек Бахрам и чуваш Петро... Целый день они лежали неподвижно, уставившись глазами в потолок, не реагируя ни на что окружающее даже взглядом...

Под вечер осталось нас в "салоне" только девятнаддать... Женщины за воротами разошлись. Потом пригнали еще группу новых заключенных.

Пашке, избавившись от посторонних свидетелей, приказал немедленно всех заключенных, прибывших сегодня и вчера, загнать во внутреннюю ограду, а затем и в коровник. Во дворе снова лаяли псы, раздавались удары палок и резала ухо гортанная немецкая ругань охранников.

Когда укутанные в старое тряпье застывшие останки Бахрама и Петра выносили из "салона", новенькие столпились под стеной коровника, замолкли, заметно сникли.

Тревожные огоньки замелькали в их глазах, казалось, будто что-то тяжелое, гнетущее легло им на плечи. И были они уже не прежние, оживленные, только что "с воли"

люди, а такие же заключенные, бесправные пленные, в глаза которым уже заглядывала и дышала в лицо могильным холодом смерть.

И хотя в нашем "салоне" еще было довольно просторно, на дворе, а значит, и в коровнике - сыро и холодно, никто из вновь прибывших так и не решился зайти к нам.

Должно быть, очень уж страшными были мы для свежего глаза. И наш когда-то такой желанный "салон", вероятно, тоже казался им не теплым уголком, а могильным склепом.

Целый вечер в коровнике господствовала гнетущая тишина. А если кто-то изредка и заговаривал, то произносил слова только шепотом.

И один лишь наш "старый" знакомый, наш русый паренек, который первым с улыбкой на губах переступил порог этого ада, остался с нами.

Добровольно взяв на себя обязанности нашей сестры милосердия, он присматривал за нами, как за детьми, подкармливал, следил, чтобы мы не съели лишнего и не пили воды; подбадривал словом и своей искренней жизнерадостной и немного жалостливой, такой разительно необычной в этом царстве смерти улыбкой. Расспрашивал каждого, если только тот хотел и мог рассказывать ему, кто он и откуда. А если иногда и не отвечали на эти вопросы, его это не смущало и не обижало. С такой же мягкой, дружеской приветливостью поведал он о себе, о

том, что происходит сейчас и происходило на протяжении всей зимы в окружающем мире.

Назвал он себя Дмитром. Сообщил, что служил с начала войны в одной армейской газете корреспондентом.

И тут, правду сказать, нас, стреляных-перестрелянных, удивило такое его откровенное, без особой необходимости, признание. Ведь мы-то знали, что эсэсовцы и гестаповцы охотились за такими людьми с не меньшей настойчивостью, чем за политработниками и офицерами. Мучили, пытали, стремясь выжать какие-то показания, беспощадно уничтожали... Так что же это он? Рисуется как мальчик? Или еще ветер в голове гуляет, и он просто выдумывает? А может... Может, ему уже и скрывать нечего?

Может... Не очень хотелось так думать. Обезоруживали эта искренняя улыбка, эти чистые глаза. Хотя... всякое ведь бывает.

А он... Сделав, не имея к тому никакой необходимости и основания, ужасное в наших условиях признание, продолжал вести себя так спокойно, словно сказанное относилось лишь к мерзлой свекле, а не к жизни и смерти, чести и бесчестью человека.

Накрыло его миной недалеко от Умани, на опушке, где-то между Подлесным и Скальным. Так и остался лежать в глубоком, поросшем бурьяном рву, подплыв кровью и потеряв сознание. Раздробило колено, ранило в плечо, контузило. Только на следующее утро подобрал его случайно проходивший лесник. Уже в то время, когда наших и близко не было... У лесника-вдовца старенькая бабушка и дочь Яринка, чудесная девушка-комсомолка. (Так, будто спрашивает его кто - комсомолка она или нет! Еще, чего доброго, и о себе выболтает.) Ну, подобрали его, перенесли к себе, положили на сено в каморке, врача какого-то старенького разыскали даже.

Яринка сразу у потерявшего сознание Дмитра все, что было, из карманов вынула, комсомольский билет надежно спрятала (выболтал-таки, как и предчувствовали!), во все отцовское его переодела. Ну, одним словом, выходили, вынянчили, только нога теперь так и не сгибается в колене. Целую зиму у них за племянника считался. Даже когда полицаи из района, из Подлесного, наведывались, так и те уже привыкли и будто верили. Хотя, как выяснилось после, был он на примете, они глаз не спускали с него на всякий случай. И он, этот случай, и обрушился неожиданно на голову, как гром с ясного неба... Прозевал, вовремя не сориентировался и не успел исчезнуть. Думалось до весны побыть у Яринки, пока нога заживет, а там уже по весне и дело нашлось бы. Как-то тогда и в голову не

приходило, что фашисты тоже заблаговременно к весне готовятся. Кто же мог знать, что так оно одно с другим совпадет! Первое то, что не посчастливилось Гитлеру войну не только до зимы, но и к весне закончить, и конца-края ей еще не видно. А второе таких, как он, Дмитро, по окрестным селам не одна сотня сидела. Вот и поняли гитлеровские заправилы: много еще им рабочих рук потребуется, чтобы эту войну продолжать! А чтобы не разбежались даровые руки весной по зазеленевшим партизанским лесам, лучше своевременно собрать их, а потом неожиданно и бросить в концлагеря. Да и в лагерях, вместо того чтобы без пользы уничтожать пленных, лучше подготовить тех, которые не умерли за зиму, и пусть умирают на необходимой третьему рейху работе. Теперь немецкое командование подчинило все окружающие лагеря организации "Тодт". И мы теперь должны быть рабами вдвойне: эсэсовцев и тодтов, которые взялись нашими руками на наших костях проложить шоссейную дорогу до самого непокоренного Севастополя.

Именно теперь и прибирает "Тодт" к своим рукам наши лагеря. А рабочих на весну и лето ему потребуется много.

Вот оно, выходит, все как просто! Заменить мерзлую, вонючую свеклу, хотя бы частично, отрубями и макухой.

Без явной причины в такого рабочего, который еще может держаться на ногах, не стрелять. Населению, которое будет подкармливать пленных, не запрещать этого. Какникак, а "Тодту" экономия.

Ну вот и пошли хватать каждого встречного, чтобы пополнить лагеря. Многие из окруженцев и местных все же успели скрыться и уйти. А он, Дмитро... Еще издали в окно заметил полицая и даже не подумал ничего. Потому что заходил этот полицай к леснику уже не раз. Зачем же бежать? Только подозрение да беду на своих спасителей накликать! А он, полицай, вошел, поздоровался, посидел, пока еще и другой откуда-то не подоспел, и: "Собирайся немедленно, пойдешь с нами!" Хорошо, что хозяин самогону им налил, и они не отказались. А Яринка тем временем выпытала, что к чему, и в дорогу собрала как следует, ничего не забыла. Даже в подкладку (снова поразила нас эта ненужная откровенность!) коечто зашила.

Дмитро хлопнул себя ладонью по кожушку, под которым где-то был еще ватник с той подкладкой, в которую что-то там зашито, широко улыбнулся ясной, обезоруживающей улыбкой:

- Если бы знал, где упадешь, говорил когда-то мой дед, соломки бы подстелил! Да... оно, может, не так уж и плохо, что я именно к вам попал! Весна же на носу! А дорога - не ограда из колючей проволоки! Конвой, наверное, будет не без оружия! Да и

в компании всегда лучше, чем одному...

Что он хотел сказать этими словами? На что намекал?

Просто болтал? Или что-то знал? А может... (не хотелось, очень не хотелось так плохо думать!) сознательно провоцировал?

Удивительный человек!

Привлекает к себе, душу отогревая, и... беспокоит, настораживает...

5

А на другой день он нас совсем удивил и еще больше насторожил.

С обеда и до самого вечера все мы вынуждены были сидеть в своем "салоне". Вновь прибывшие, как и мы, жались тесными группками вдоль нашей стены, под уцелевшей еще частью крыши.

На дворе, не утихая вот уже несколько часов, шумел первый весенний апрельский ливень. По всему было видно, что лютая зима окончательно уступила место ранней и буйной весне.

Исчезали, смывались дождевыми водами последние клочки рыхлого снега. Где-то там, на полях, по оврагам и ложбинкам, извивались тысячи ручейков. По улице, вдоль шоссе мчался клокочущий мутный поток и настоящим водопадом срывался в овраг за стеной нашего коровника.

По сотням таких оврагов и буераков талые и дождевые воды с шумом, шипеньем и звонким бульканьем неслись к реке, наполняли ее вровень с высокими берегами, поднимали на своих могучих волнах шершавый, позеленевший лед.

Река вскрылась.

В воздухе, как после летнего дождя, чуялся нам уже запах луговых трав, волновал воскресшими надеждами...

А тот, кто стал слоено первым вестником этих неожиданных, пусть даже и призрачных, надежд, присмотрев наших лежачих товарищей, подошел к плите, степенно стянул с головы кроличью шапку, тряхнул русым чубом и этим движением будто смыл со своего лица вместе с улыбкой и всю свою приветливость. Милое, задорное лицо его заострилось и стало вдруг холодно-строгим, каким-то сухо-торжественным. И совсем неожиданно, с полной серьезностью, властно, отрывисто, будто отдавая команду, он приказал:

- Achtung! [Внимание! (нем.)] Прошу ваше внимание слушать на меня сюда!

Отчеканил каждое слово старательно и уверенно. Так, как только и мог выговорить эту фразу природный немец, который самоучкой изучил наш язык и твердо убежден, что знает его блестяще. Проговорил с такой естественностью, что в то мгновение не одного из нас невольно укололо сомнение: "А что,

если и вправду к нам подослали какого-то фольксдойчика? Вот только зачем? Кому мы, такие страшные, нужны?"

А "фольксдойчик" в это время, незаметно достав откуда-то листик бумаги, держал его в руке и провозглашал тем же деревянно-торжественным голосом:

- Хайль Гитлер! Обращение высокоуважаемого господина гебитскомиссара нашего гебита, доктора Ернста герр, фон Кранкенмана!

"К туземному населению!

Те, которые здесь, на завоеванных войсками фюрера территориях, туземное население люди есть, навсегда запомнить должны... Фюрер великой Германии Адольф Гитлер сказал: отныне называемая туземцами Украина только географическое название будет есть. Все на восток и запад от Днепра завоеванные земли на веки вечные собственностью третьего рейха считаться будут..."

И далее таким же тоном, тем же деревянным языком провозгласил: туземцы должны быть счастливы, потому что их завоевала такая культурная и великая нация, что это для них высшее счастье. Теперь надо жить и работать, не жалея своего здоровья для великой Германии. И что "все, которые хоть в мыслях будут поднимать руку на третью империю или нарушать приказы назначенной боготворимым фюрером власти, немедленно уничтожены, беспощадно и безжалостно будут есть..." И что "самой святой обязанностью каждого туземца есть": выдавать немецкой власти скрываемых и беглых пленных, коммунистов и партизан, выдавать тайные склады оружия.

И что каждый, кто не только сам знает или видел, но только слышал от другого что-то о партизанах и не донес законной власти, "расстрелян будет есть".

И в таком духе вплоть до подписи гебитскомиссара.

Двое из нас не выдержали, поднялись на ноги, подошли к Дмитру и заглянули через плечо. Нет, он не мистифицировал и ничего не выдумывал, он читал так, как оно действительно было написано и даже напечатано.

Дочитав, обвел всех вопрошающе-суровым, изучающим взглядом, и... вдруг лицо его снова озарилось мягкой, привлекательной улыбкой:

- Не поняли? А фокус, между прочим, довольно интересный. Прошу убедиться и взглянуть собственными глазами.

Как настоящий фокусник, провел ладонью по листку, взял его кончиками пальцев за уголки, встряхнул, словно платочек, и, мгновенно повернув обратной стороной, медленно провел перед нашими удивленными глазами.

Вначале мы увидели только какой-то очерченный толстыми черными линиями рисунок. Потом пригляделись внимательнее и, как-то невольно, словно подчиняясь внутреннему велению, все сразу оглянулись на двери. А уж затем снова впились взглядом в этот клочок бумаги и уже не могли отвести от него глаз.

Несмелые поначалу, непривычные в "салоне смерти"

улыбки, помимо нашей воли, постепенно, скупо, а потом все яснее и яснее озаряли наши измученные, заросшие лица.

Никогда еще такие ясные улыбки не освещали этого скорбного жилища, и никогда еще давно знакомые каждой своей чертой лица товарищей не представали перед каждым из нас такими непосредственными и человечными, открыто озаренными двойной радостью: радостью от того, что все же не ошиблись в человеке, и от того, что увидели.

На листке бумаги, на обратной стороне обращения гебитскомиссара к "туземцам", был нарисован самый обыкновенный большой узловатый кукиш. А острый, как серп, ноготь большого пальца этого кукиша энергично упирался прямо в нос Гитлеру! Упирался, вдавив нос Гитлера, как кнопку, между щетинистыми усиками и испуганно выпученными глазами.

Для каждого, кто хоть немного разбирался в этом, было ясно, что рисунок на обороте обращения напечатан типографским способом.

Гитлер на рисунке, конечно, карикатура, но вместе с тем это был точный портрет. Такой, каким его узнает каждый, кто только посмотрит на рисунок. Одним словом, перед нами была художественная вещь, остроумная и язвительная.

Под рисунком вычерчен четкими черными буквами скупой текст:

"ТУЗЕМЦЫ - ГИТЛЕРУ!

ОТ ИСКРЕННЕГО СЕРДЦА - С ПЕРЦЕМ!"

"Молния"

Можете себе представить, что с нами происходило!

Кому довелось волей судьбы и обстоятельств попасть в наше положение или побывать на оккупированной территории, во вражеском окружении, тот нас поймет. Поймет, потому что и сам, вероятно, ощущал ту молниеносную силу, с которой действует на человека, давно не слыхавшего правдивого родного слова, каждая весточка от своих, каждое слово и особенно печатное слово листовка!

Нас будто пронзило, будто встряхнуло электрическим током. И от этой встряски мы, казалось, даже окрепли.

Как-то светлее, чище стало и вокруг нас. Мы не думали теперь о том, что могут войти фашисты, забыли, где мы

находимся, и какое-то время только молча улыбались...

Наконец послышался чей-то глубокий вздох. Кто-то шевельнулся и, опомнившись, приказал:

- Спрячь! Слышишь, спрячь, чтоб не отобрали...

И уже потянулась к белой бумаге чья-то тонкая, синевато-прозрачная рука, придерживая, боясь, как бы не исчезло, словно марево, это неожиданное, вселяющее надежды чудо.

- Где? Где ты достал? Как?

- Где взял - так, как говорил мой дед, там уже нет. - Дмитро не спеша сложил вчетверо бумажку. - Да сейчас еще такого и вообще нигде пет. А вот завтра или послезавтра несколько сотен БОТ таких "обращений" гебитскомиссара герра Кранкшнапсграбмана полетят по всей области, из района в район, от села к селу...

Услышав такое, мы лишь недоуменно переглянулись...

- Ловко нарисовано! - уже погодя вымолвил один из нас. - И это наверное же где-то тут, под немцем...

Ведь... не похоже что-то, чтобы такое с самолета сбросили...

- С самолета? - Спрятав бумажку, Дмитро поднял с земли обугленную палочку и провел ею раз и второй по гладенькому оштукатуренному квадратику стены над плитой. - Нет... Рисовано тут! - Механически, словно забавляясь, он водил угольком по стене. - Рисовано тут...

Рисовал один... ну, скажем, один неизвестный...

А на стене из-под его руки, неожиданно для нас, словно прорезавшись из глины, вырисовывалось человеческое лицо... Заросшее бородой, скуластое лицо макеевского шахтера Степана Дзюбы, который лежал здесь же рядом, опершись на локоть, возле самой плиты, с пристальным, все возрастающим удивлением следя за рукой Дмитра.

- О-о-о! - густо, будто шмели, загудели мы, вконец пораженные. Потому что не узнать Дзюбы на стене было просто невозможно.

Услыхав наше гудение, Дмитро непонимающе обвел взглядом всех нас, потом внимательно присмотрелся к стене и... будто даже растерялся или смутился. Нет, нет, можно было со всей уверенностью сказать, что он не рисовался, не думал нас удивлять или демонстрировать перед нами свое умение. Ибо он и сам немного удивился, вполне искренне удивился, взглянув на то, что вышло из-под его руки. Вышло почти непроизвольно, случайно.

Так, как бывает, когда человек глубоко задумается над чем-то, а рука тем временем привычно делает что-то совсем иное, уверенными, давно выработанными, механическими движениями.

И, еще не осознав всего до конца, мы уже почувствовали, поверили, что этот рисунок, в котором угадывалась сила настоящего искусства, прорвался у него непосредственно, действительно непроизвольно, так, как иногда вырывается песня из переполненной чувством груди.

И так же как окружающие люди никогда не спрашивают у человека, почему он запел, так и мы - жители "салонл смерти" - восприняли поступок Дмитра, - каким бы удивительным кому-то это ни показалось теперь, - и его рисунок словно что-то вполне понятное и естественное.

Только молчали немного дольше, чем это полагалось.

Нарушил молчание тот же Дзюба:

- А что бы это могла означать вот та подпись - "Молния"?

- "Молния"? - Дмитро так же машинально водил рукой по стене, только теперь уже размазывая ладонью свой рисунок. - "Молния"...

Но закончить он не успел.

- Хопиць! [Хватит! (белорусок.)].

Слово это прозвучало резко, решительно, как команда, хотя низкий голос того, кто его произнес, был тихим и слабым. Прозвучало, сразу заставив вспомнить, где мы находимся и что вокруг нас происходит.

Из-под стены тяжело поднялся Микита Волоков. С трудом переставляя шаткие, негнущиеся ноги в грубых, порыжевших армейских ботинках, он подошел к плите. Поднял на Дмитра из-под высоких надбровий глубоко запавшие, но еще острые глаза, протянул к нему руку и... захлебнулся надрывным, глухим и долгим кашлем.

Был Микита Волоков, как нам тогда казалось, человеком уже немолодым, лет под сорок. Характером отличался ровным, сдержанным и порой даже суровым. Говорил кратко, скупо, мысли высказывал трезвые. Советы его всегда были уместными, разумными. Мы давно начали прислушиваться к ним; стало уже привычным считать Микиту за старшего среди нас, мы слушали его, словно командира.

О себе Микита почти никогда и ничего не рассказывал. Знали мы только, что он белорус, что где-то есть у него жена и дочь. А вот откуда он, что делал до войны, где служил в армии и имел ли офицерское звание - не знали и расспрашивать не решались.

Кашель долго бил Микиту, сотрясая все его тело и надрывая грудь. Жилы на худой длинной шее вздулись, запавшие щеки налились кровью, покрылись сизоватой, нездоровой синевой. Шрам, пересекавший левую щеку от виска до подбородка, стал совсем белым.

Когда приступ кашля прошел, Микита вынужден был еще какую-то минуту отдохнуть, тяжело переводя короткое дыхание.

- Ты... прости, парень, - положил он руку, которая мелко-мелко дрожала, на рукав Дмитрова кожушка. - Но... Видишь ты нас впервые...

Дмитро смотрел на Микиту немного растерянно, но внимательно, пытаясь понять, чего от него хотят и почему перебили разговор.

- Ну, впервые...

- А вот рассказываешь... Будем говорить откровенно, неосторожно рассказываешь... Да и, если ты действительно так много знаешь, дано ли тебе право всем этим делиться, снова, скажем так, без всякой необходимости...

- Неосторожно? - Дмитро обвел наш "салон смерти" долгим, пристальным и внимательным взглядом. - Неосторожно? Гм... Просто как-то не подумалось, что здесь, среди вас, может умирать от голода и холода какой-то там шпик немецкий или провокатор. Не подумал.

Лицо его вдруг снова озарилось той откровенной и приветливой улыбкой. Улыбкой такой удивительно искренней, такой ясной, что пред нею тут же развеивались все сомнения и тревоги.

И эта улыбка доброго, большого ребенка сразу обезоружила не только нас, но и строгого Микиту Волокова.

- А вот имел ли право... - Дмитро, все еще улыбаясь, снова поглядел на всех нас, будто советуясь и проверяя самого себя. - Вот, ей же богу, как тут и сказать... Можег, и в самом деле что-то прорвалось... Но... увидел я вас, своих, родных, и так мне захотелось хоть немного вас порадовать, хоть чем-то поддержать... Не только добрым словом, но и хорошей вестью подбодрить... А если, может, и правда что-то не так...

Нет, такому душевному, такому откровенному человеку и с такой детской беззащитной улыбкой нельзя было не поверить! И можно было бы многое простить, если бы и действительно он что-то сказал не так. Ведь все у него шло только от искреннего желания сделать как лучше.

- Да ничего же я такого и не сказал, чтобы кому-то могло повредить! уже и в самом деле с какой-то детской наивностью начал оправдываться перед нами Дмитро. - Листовки те, "Молния"... Я же ни одной фамилия не сказал, ни места...

- Да ты на меня не обижайся, - стал успокаивать его Микита. - Я так, на всякий случай, потому что и сам знаешь, где сидим... А ты нал действительно будто праздник какой здесь устроил, надежды умершие оживил. - Он взял из рук Дмитра вчетверо

сложенную бумажку. - Если бы ты знал, какое это счастье, какая радость для нас увидеть этот белый мотылек! Слов таких не найдешь, чтобы поблагодарить и ту руку, которая эти бумажки достала, и ту, которая рисовала и писала правду поверх немецкого вранья. Дух ты нам, хлопче, поднял, и большое тебе за это спасибо! И там, в народе, такие мотыльки будут радовать всех и силы умножать... И вот теперь, когда наша судьба стала и твоей, общей нашей судьбой, когда ты спас нас не так от голодной смерти, как от смертельной безнадежности, то именно теперь и надо быть во сто крат более осторожным и бдительным. Чтобы то, что сейчас принесло нам самую большую радость и уже сделало свое большое дело, не обернулось для нас всех большой бедой. Думаем так, что не стоит нам беречь эту листовку, ежеминутно подвергаясь опасности. Не лучше ли ее, ну...

уничтожить, что ли... Ведь перестреляют, замордуют всех до одного, концы к клубочку искать будут, если что.

- Уничтожить? - Дмитро произнес это слово, как я Микита, с каким-то усилием, видно, выговорить его было больно. - Ну что ж... - он подошел к плите, протянул бумажку к пламени, и все мы, будто за магнитом, потянулись за его рукой. Широко раскрытыми горячими глазами следили за тем, как жадно лизнули бумагу желтые язычки, как темнела она на наших глазах, коробилась и оседала серыми хлопьями на тлеющие угли. Следили молча, долго, пока не исчез последний, крошечный лоскуток, который был зажат в пальцах Дмитра.

Чувствовали мы себя так, будто совершили все вместе какое-то преступление, будто оскорбили, а то и убили кого-то близкого и родного...

- Ну что ж, уничтожить так уничтожить... Да только вот бывают такие вещи, что их и уничтожить нельзя...

Разве что...

Дмитро не закончил. Сел на солому и торопливо начал стягивать с правой ноги кирзовый сапог. Стащил, бросил взгляд на дверь, за которой не утихал апрельский ливень, и старательно взялся перекусывать острыми молодыми зубами серые нитки, которыми была подшита к кирзовому голенищу грубая холщовая или даже брезентовая подкладка. Перекусывал, разрывая пальцами и зубами, бормоча сквозь стиснутые зубы:

- Морока вам со мной. А только иначе нельзя. Тут уж действительно не имею права. Хотите или не хотите, а помочь должны. Такую задаю вам мороку...

6

Морока, на наш взгляд, вначале показалась нам не такой уж и большой.

В сапоге, между голенищем и подкладкой, была зашита общая тетрадь в клеенчатой обложке. Достав ее из разрезанного голенища и победоносно потрясая над головой, он хлопнул ладонью по левому голенищу и, словно и не было перед этим предостерегающего разговора с Микитой и предупреждения не говорить о том, о чем можно и не говорить, протянул:

- О! А тут еще одна! Еще тогда, когда понемногу начал поправляться и ковылять, попросил Яринку. Вот она это и зашила. На всякий случай. Чтобы всегда было под рукой... Время такое ненадежное, - начал он оправдываться. - А я, знаете, без этого как без рук. Ну, вот, не зашила бы Яринка, то как бы я теперь?..

Короче говоря, он должен был всегда, везде и при любых условиях рисовать.

По правде говоря, нам, далеким от окружения, в котором создавалось искусство, людям, которые в своей жизни и близко не встречались с настоящими художниками, казалось это его стремление обязательно рисовать при любых обстоятельствах причудливым, возможно, нарочитым. Только подумать! В этом аду, где внезапная смерть является еще не худшим из того, что в любой момент может свалиться тебе на голову, мечтать о каких-то рисунках! Да, да, именно о рисунках! Не о листовках, которые призывали бы к борьбе, даже не о карикатурах, а об обыкновенных, ежедневных зарисовках из окружающей жизни. И это на пороге смерти, которая глядела в глаза из любого парабеллума в руках первого встречного гитлеровского ефрейтора и угрожала сейчас ему так же, как и нам!

И нужно, действительно, быть очень молодым, очень наивным и очень верить в свою звезду, чтобы иметь желание рисовать в этом царстве смерти, крови, вшей, голода и холода! Мы еще не могли понять, что руководит его поступками. Но он был таким искренним, таким славным и симпатичным парнем! И это ж именно он осветил, словно солнечный луч, наш мрачный "салон смерти", отогрел и оживил наши души! Так как же мы могли не помочь ему? И мы все как один стали помогать ему словом, советом и делом. Кто-то разыскал тонкую заостренную дощечку, кто-то вырыл в углу под стеной ямку и выстлал ее соломой, обернул тетрадь грязной портянкой. Тетрадь спрятали в ямку, прикрыли фанеркой и засыпали землей.

А чтобы ее не выгребла собака в случае обыска, не пожалели доброй полугорсти подаренного нам самосада и посыпали это место.

Вторая тетрадь так и осталась в голенище. А эта всегда должна быть под рукой. Выпадет подходящая минута, подними

фанерку, примостись за плитой и рисуй! И мы только радовались тому, что могли хоть чем-то отблагодарить парня за все, что он сделал для нас. Пусть рисует, если это доставляет ему удовольствие, пусть будет для него в этой кровавой яме хоть какое-нибудь развлечение, которое отвлекало бы его от тяжелых мыслей о нашем невыносимом существовании.

Пускай забавляется! В конце концов, если даже его рисунки попадутся на глаза немцам, что они увидят там?

Что они, эсэсовцы, убивают или расстреливают пленных?

Что гибнут за колючей проволокой люди? Да на фоне таких картин эсэсовцы сами охотно фотографируются! Ничего злонамеренного не заметят, следовательно, и в его зарисовках. Ну, уничтожат, ну отберут, ну, наконец, самое худшее, могут избить! А что, если и убьют?! Но они в любой момент могут убить и без этого, просто так, под настроение. Нет, пусть у парня будет это развлечение!

Так думали мы.

Но думали так недолго.

Действительно, он был молодым и вправду еще наивным. Был он, если уж говорить откровенно, кое в чем даже легкомысленным, вернее - неосторожным.

Но вместе с тем он был очень чистой и цельной натурой. И еще - он был художником. Настоящим, талантливым художником! Не потому только, что где-то за год до войны закончил художественный институт, что где-то там что-то уже иллюстрировал и выставлял. Нет, он был художником от рождения, по призванию. Искусство было его жизнью, делом, без которого нельзя жить, как без воздуха! И верил он не только в свою звезду, но и в нашу, верил в силу своего народа, своего государства, верил в нашу победу. Верил искренне, глубоко, не колеблясь, всем сердцем.

Ему суждено было пережить, перечувствовать, увидеть своими глазами такие падения и такие взлеты бессмертного человеческого духа, которые довелось увидеть и пережить далеко не каждому художнику. Судьба дала ему в руки такой "жизненный материал", что он, как настоящий художник, не мог обойти его и не воспроизвести, даже с риском для жизни, даже перед лицом видимой смерти. Он встретился с тем, о чем должно было потом узнать и не забыть все человечество. И верил в то, что еще придет время, когда его зарисовки станут бесценными человеческими документами, пусть даже не произведениями искусства, пусть только живым, правдивым материалом, который поможет уже не ему, а другим в создании волнующих картин о неслыханных в веках преступлениях фашизма и борьбе с ним, о неслыханном

человеческом героизме, о торжестве жизни над смертью. Пусть они взывают к тем, кто останется живым в этой войне и кто еще только родится после нее. Смотрите, до чего могут дойти люди на земле, если их превратят в животных, если утратят они человеческий облик! Смотрите, чем является и что несет с собой фашизм! Не забывайте! Не оставьте безнаказанным и не дайте повториться этому снова! Пусть не будет больше войн. Покончить с ними!

И пусть этой великой цели хоть немного, хоть на маковое зернышко послужит он своими правдивыми зарисовками из-за колючей проволоки, из лап смерти, из когтей фашистского чудовища.

Нет, оказывается, это все же не было развлечением!

Это писался рукой художника одновременно и обвинительный акт, и приговор фашизму, и наше письмо в вечность, к тем, кто останется жить, кто родится после нас.

Письмо, которое вырвет нас, наши страдания, муки, борьбу, самую нашу гибель из небытия, из мрака неизвестности и обессмертит ее.

Это мы поняли очень скоро. Поняли даже те из нас, кому никогда в жизни не приходилось задумываться о назначении, даже о самом существовании того, что называется искусством. Поняли после первого, небольшого, в одну страницу тетради, рисунка карандашом: на фоне паутины из колючей проволоки - гауптшарфюрер Пашке с разряженным парабеллумом в одной и с собакой на поводке в другой руке. И согнутое, повисшее на проволоке тело пленного с простреленной головой. Скупо, торопливо было нарисовано все это. И ничем, ни единым штрихом наш художник не исказил Пашке. Но господи! Как разительно повеяло от этой фигуры чем-то дремуче-диким, ужасающим. Судьба человека, отданная в руки цивилизованному людоеду-дикарю...

Даже несведущий начинал понимать, что у него перед глазами что-то страстное, истинное, талантливое и впечатляющее!

Нет, мы, конечно, тогда не философствовали и не раздумывали. Не так-то уж мы разбирались в искусстве, не те были у нас возможности, да и не до того нам было. Но все мы, пусть не осознавая того до конца, почувствовали, что с появлением юноши в нашем "салоне" поселилось что-то необыкновенное, что-то небудничное и неповторимое. Что-то такое, что не встречается повседневно, а иногда и за всю жизнь не каждому встретится, что возвышало наш дух над нашими обессиленными телами, над кровью, грязью, смертью. То, что

помогало нам смотреть с презрением на наших вооруженных палачей, смотреть сверху вниз, с высоты неодолимого человеческого духа.

И мы теперь должны были поддерживать, оберегать и отстаивать то необычайно яркое, что появилось среди нас.

Мы теперь должны были нести за него ответственность перед кем-то, кто придет, возможно, лишь после нас. И эта ответственность совсем не отягощала. Наоборот, она поддерживала нас и придавала силы. Между нами и нашими врагами еще резче обозначилась пусть незримая, но настоящая линия фронта, на которой мы стояли насмерть, чувствуя себя снова не замученными жертвами, а бойцами-воинами.

А Дмитро рисовал, используя каждую свободную и удобную минуту. Рисовал в тетради, рисовал на влажной земле, прямо на полу, если не было возможности достать тетрадь. Он был необыкновенным, страстным до самозабвения художником. Не мог не рисовать, должен был творить, потому что, не рисуя, он, собственно, не жил. Творчество было потребностью его души, так же, наверное, как пение у птиц. И кто знает, что бы он отдал, на что бы пошел, лишь бы только рисовать. Кажется, и не жил бы, если бы его лишили такой возможности.

Перед этой его страстью, перед этой жаждой творчества бледнели, забывались его наивность, легкомысленная неосторожность, эта его беспечная, несдержанная откровенность и доверчивость.

Жили мы теперь двойной жизнью. Одной - в нашем "салопе смерти", где работал Дмитро, покой и безопасность которого мы охраняли, а другой - в концлагере, жизнь которого текла своим обычным руслом.

За колючей паутиной проволоки над широким миром подымался прозрачный теплый апрель. Раскрывала крылья нежная, ранняя весна. Да никто теперь не замечал ни ее красоты, ни ласковой нежности. Потому что красота эта, пробуждая давние, счастливые воспоминания, больно терзала сердце и тревожила волнующими запахами оттаивающей земли, глубокой синевой перекрещенного колючей проволокой неба.

Солнце за проволокой, небо за проволокой, свобода за проволокой. Жизнь за проволокой, и... смерть на проволоке. Все это скупыми, четкими штрихами кричало у художника на страницах обернутой в клеенку тетради.

А мир вокруг нас по-прежнему ограничивался проволокой, ободранным коровником, "салоном смерти", овчарками, парабеллумами, резиновыми дубинками и попервобытному дикими рожами эсэсовцев.

Фашисты продолжали вылавливать в окрестных селах, па дорогах и хуторах каждого встречного. Лагерь снова быстро пополнялся, и "жизнь" его входила в свою "нормальную" колею. Снова восстановил свои строгие запреты Пашке, снова карал за малейшее нарушение. Новички быстро потеряли свой долагерный вид, с которым они пришли "с воли", и почти догоняли нас. Двое из них стали жертвами "маленькой войны", неосмотрительно и невежливо поведя себя с комендантом. А одного так искромсали натравленные унтерами псы, что он умер, не протянув после этого и трех дней.

Сидеть и умирать без дела, как это было зимой, нам уже не разрешалось. Теперь с самого утра нас выстраивали на поверку, выдавали положенную порцию баланды, а затем заставляли расчищать от грязи, подметать, мостить камнями и посыпать песком весь лагерь, комендантский двор и часть улицы перед воротами. Песок и камни возили военным фургоном с речки. Запрягали эсэсовцы в этот фургон десятка два людей и заставляли тянуть по вязкой грязи, подгоняя кольями и резиновыми дубинками, галдя, глумясь и натравливая собак.

Иногда нас уже всем лагерем, - оставляя в "салоне смерти" только тех, кто действительно не мог подняться на ноги, даже под угрозой расстрела, выводили на дорогу в село, а то и в степь. Приказывали расчищать мостовую, по которой торопились на восток, обдавая нас жидкой грязью, немецкие грузовики, приводить в порядок подмытые весенними водами мостики, расчищать площадку под скалой на берегу речки для будущего каменного карьера.

В лагерь мы возвращались уже на закате солнца, плотно окруженные сворой собак и вооруженными конвоирами. Возвращались очень утомленные, избитые, едва вытягивая из грязи ноги. И больше, чем издевательства, чем усталость, терзали наши сердца боль и стыд оттого, что мы вынуждены работать на врагов, мостить дорогу для их наступления на нас, на все наши надежды и чаяния.

И все же настроение у нас было не то, что зимой, когда мы просто гибли, потеряв всякую надежду на спасение.

Кроме того, что силы наши хоть как-то поддерживались отрубями и дертью из прелой кукурузы, к воротам лагеря по крайней мере раз в неделю прорывались группки женщин и детей. Они приносили передачи новичкам, а те побратски делились с нами всем, чем только могли. И таким образом сохранялись наши силы и мы держались на ногах. А возвращаясь к жизни, все мы, жильцы "салона смерти", убеждали себя в том, что никаких дорог мостить для оккупантов не будем. Мы уже

начинали верить, что на тех дорогах ждет нас весна, а с ней и освобождение. Верили, что час нашего возвращения к активной вооруженной борьбе с врагом наконец пробьет и что это не за горами.

Вера эта снова была связана с Дмитром, который вдохновил нас новой надеждой. Теперь он, под влиянием Микиты, становился более рассудительным, меньше говорил о том, о чем можно было не говорить, стал даже немного осторожнее, иногда перешептываясь о чем-то лишь с Волоковым и Дзюбой. Но все равно мы тоже знали или по крайней мере догадывались об этом.

Узнали, хотя и с запозданием, как дали наши гитлеровцам по зубам зимой под Москвой. Знали, что крепнет и с наступлением весны будет расширяться сопротивление оккупантам на захваченных территориях. Знали уже, что существует какая-то "Молния", и догадывались, что это название подпольной организации. Хотя не знали, какая она, хотели верить, что это сила, с которой связано патриотическое движение во всей области.

За подписью "Молния" появились в окрестных селах две-три советские листовки. По всему было видно, что это именно "Молния" подорвала в соседнем, Скальновском районе сахарный завод, убила коменданта, вывела из строя несколько немецких машин, обезоружила полицейский пост и подорвала один из мостов через речку.

Можно было догадываться также, что "Молния" готовит наш побег и что именно эта чудесная девушка Яринка через Дмитра должна поддерживать нашу связь с "Молнией". И будто были даже попытки, но пока что неудачные, подсунуть немцам в полицию, охраняющую лагерь вместе с оккупантами, кого-то из своих комсомольцев. И мы уже мечтали о побеге, об отобранном у конвоя оружии и о партизанском отряде где-то там, немного дальше на северо-восток, в лесах...

Микита с Дзюбой уже прямо предупреждали нас, чтобы были наготове, чтобы осторожно, намеками, готовили к мысли о побеге новичков, среди которых было немало смелых и горячих голов. Их надо было подготовить к тому, чтоб они не растерялись в решающую минуту, знали, что и к чему, и сразу же подчинились единой команде и единому, пока никому еще не известному плану.

Каким должен быть этот план, сколько в нем реального, трудно было сказать. Но мы верили в этот план будущего освобождения, жили им и тем держались на свете.

Дмитро наравне со всеми нес гнетущее бремя нашей страдальческой жизни. Вместе со всеми мерз, голодал, тяжело

работал, выносил оскорбления и издевательства.

Наравне с нами мучился, выбивался из сил и все же в каждую свободную минуту рисовал, рисовал и рисовал.

Не мог не рисовать. Не представлял своего существования без этого. И сохранил свою мягкость, приветливую сдержанность и жизнерадостность. Казалось, ничто не могло изменить его жизнелюбия и стереть с лица искреннюю ясную улыбку.

И только в те счастливые для него, а значит, и для нас дни, когда за густой паутиной проволоки на улице показывалась коротенькая цигейковая шубка и обшитая лисьим мехом шапочка Яринки, когда девушка подходила к воротам, Дмитро терял всякое самообладание и прямо-таки становился сам не свой. Нарушая все запреты Пашке, он пробивался до самых ворот, сгоряча, очертя голову, бросался на проволоку, громко кричал, руками, глазами подавал девушке какие-то знаки, принимал от нее ему одному понятные сигналы, не замечая в это время вокруг себя никого и ничего. И нелегко было нам тогда успокаивать его, сдерживать, спасать от коварной, притаившейся рядом пули гауптшарфюрера.

Проводив Яринку погрустневшими глазами и щедро разделив между нами ее передачу, Дмитро с такой же неодолимой жаждой тут же брался за свои заветные карандаши и тетрадь.

Рисуя, он был до конца предан одной, раз взятой теме и ни в одном рисунке не изменил своей строгой, правдивой музе. Рисовал не просто так, как рисуют для собственного удовольствия, а вкладывал в работу всего себя.

К работе относился, как к высокому делу и нелегкому, но радостному подвигу. В типах врагов, которые рождались на бумаге из-под его руки, воплощал всю свою ненависть и неудовлетворенную жажду мести.

Основной же чертой образов наших людей в его всегда трагических рисунках была героическая жертвенность, решительность и сила духа.

Он не утешал и не приукрашивал. Умел передать правду жизни, неподдельную, суровую, мужественную, не скрывавшую ничего.

Не холодными размышлениями ума, а скорее всем своим существом художника чувствовал, что живет в такое переломное время, на таком высокотрагическом взлете эпохи, когда решается судьба человечества. И его голос, голос рядового бойца, должен донести до будущих лет, а может, и веков одну лишь трагическую и страшную, но святую истину нечеловеческих страданий и титанической борьбы за будущее человека.

Было ли здесь место лирике, искушению минутных и

скоропреходящих настроений усталости и неверия?

Один лишь раз за все то короткое время, которое прожил с нами до этих трагических событий, он позволил себе только на миг отойти от своей скорбной и суровой темы. Один лишь раз сорвалась из-под его мужественной руки нежная, лирическая нота, может, и свойственная ему, но сурово загнанная на самое дно души твердой волей и обстоятельствами.

Именно с этого невинного рисунка все и началось.

7

Яринка, неизвестно как и через кого, может, с едой, может, через какого-нибудь полицая, встретившегося на дороге, передала Дмитру маленькую бутылочку густых, как тушь, чернил. И будто нарочно в тот же день, ремонтируя на дороге мостик, Дзюба, вместе со щепками и стружками на растопку, принес в "салон" прямоугольный кусочек доски. Доска была новая, ивовая или липовая, белая, на редкость гладко обструганная, словно отполированная. А ко всему этому было еще, наверное, на нашу беду, и соответствующее, навеянное весной настроение.

С дороги мы вернулись под вечер, почему-то значительно раньше, чем обычно. Были так утомлены, что уже не чувствовали ни рук, ни ног. Выбившись из сил, живыми колодами повалились на полу "салона смерти".

В плите, потрескивая, тепло мигали белыми язычками пламени пахучие щепки. Сквозь раскрытые двери и окно - доски мы недавно сорвали и сожгли неслись с реки волны ароматного, по-весеннему пьянящего степного воздуха. За рекой, спускаясь к горизонту, плавилось в предвечерней сиреневой мгле кроваво раскаленное солнце. И какой-то приглушенный, тревожно-возбужденный, предвечерний клекот-гул стлался над большим селом.

Он делал свое, тот весенний вечер и тот волнующий клекот, как-то помимо человеческой воли и сознания проникая в наши страдальческие души.

- У нас на юге теперь уже и посевную заканчивают, - произнес кто-то без всякой связи с предыдущим. - А по степи, где не вспахано, или на межах, петушки.

Синие и красные...

- А в этих краях первыми расцветают подснежники.

Еще и снег не везде сойдет с земли... Белые-белые, как снег, цветочки, а корешок - кругленькая сладкая луковичка.

Заговорил один, продолжил другой. И этого уже было достаточно, чтобы наши мысли и наши разговоры сбилгсь и коснулись очень и очень далекой от нас жизни, недостижимой, но родной и милой, как давно минувшее счастливое детство.

Вспоминалось, как расцветают, разливаясь голубыми озерками, пролески, как пробиваются изпод прошлогодних листьев ворсистые синие глазки сонтравы, как горит желтым пламенем горицвет и оранжевыми полотнами устилает берега рек и топкие трясины одуванчик.

И пошло, и пошло... Как, где и когда вздымаются льды и вскрываются реки. Как хорошо ловится наметкой вялая весенняя щука у берега, когда посредине реки идет лед. Какое половодье бывает на Днепре и какие чудесные, заросшие непроходимым камышом и татарником тихие плесы попадаются на Десне. И как легко идут на червяка из-под густых листьев кувшинок полосатые окуньки.

Нашла на нас такая неожиданная лирическая минута.

Тихо вспыхнула эта мечтательная беседа.

Во время этого разговора мы так и не заметили, когда у Дмитра, который лежал возле самой плиты, оказался в руках тот желтовато-белый прямоугольничек гладенькой дощечки. Он всегда должен был что-то держать в неспокойных, ненасытных руках, и они, эги руки, всегда что-то рисовали, даже тогда, когда человек забывался и думал совсем не о том, что делает...

Парень в наш разговор не встревал. Наверное, поддавшись его убаюкивающему, ровному течению, мечтал также о чем-то своем. Мечтал и, обмакивая время от времени тоненькую щепочку в чернила, неторопливо и сосредоточенно водил ею по ровной поверхности доски.

Мы так и уснули, незаметно убаюканные усталостью и своей тихой беседой. И законченный рисунок заметили только утром, когда на дворе уже хрипло горланили полицаи, ворчали немцы и лаяли проголодавшиеся псы.

За стеной - проволока, овчарки, до умопомрачнения ненавистный, омерзительный ералаш. А перед глазами, на белой глади доски, черные, тонкие штрихи, которые иногда сливаются, вырисовывая четкий силуэт дерева или куста. Рисунок... Черным по белому. Но если бы он был написан даже красками, то, пожалуй, и тогда не произвел бы на нас большего впечатления своей выразительностью и тихим, глубоким лиризмом. Трудно сказать теперь, действительно ли он был написан так талантливо, или так остро восприняли его наши изболевшиеся души, жадные ко всему, что только напоминало свободу. Это был какой-то прелестный уголок в лесу или на лугу. Озеро или залив, заросший по берегам вербами, осокорями, стеной камыша. На воде густые листья кувшинок. Местами- белые цветы лилий. Посредине - чистый плес, на плесе - лодка, от лодки на воде - тень. И вода в том месте кажется глубокой-глубокой... В лодке

девушка с заплетенной косой. В косе цветок, в руках - весло...

Такая простая, необычная и слишком уж идилличная для Дмитра картина. Когда она пошла по рукам, парень объяснил, что такое озерко есть тут, неподалеку, в лесу.

В лодке сидела его случайная хозяйка-спасительница, чудесная девушка Яринка. Для нас же в этом было что-то большее, что-то более значительное. За стеной клокотал ненавистный шум концлагеря. Он усиливался, нарастая."

И тем острее веяло на нас от этого рисунка утраченной свободой, чем-то мирным, довоенным и таким сейчас недосягаемым, что при одной мысли об этом сердце заходилось от жгучей, почти физической боли.

Девятнадцатилетнему волгарю Александру Воронову, или, проще, нашему самому младшему, Сашку, рисунок пришелся по душе больше всех. Насмотревшись, да так и не выпустив дощечки из рук, он попросил, чтобы рисунок повесили на стену и чтобы на него всегда можно было смотреть. Надо бы было, разумеется, подумать,, прежде чем согласиться с этим, но... Призванный в армию сразу после окончания школы, молодой парень менее чем за год после призыва успел побывать солдатом, тяжелораненым и, наконец, пленным. В плену раны его заживали плохо, он все время болел, и поддерживала его до сих пор лишь наша забота и присмотр товарищей. Болел Сашко и теперь. Снова опухла и угрожающе посинела раненая, плохо залеченная нога. На работу он не выходил, лежал, одинокий, весь день в "салоне смерти", и отказать в просьбе ему было невозможно. Да и минута была такая грустно-мечтательная. И никому из нас не показалось тогда ни странным, ни необычным то, что мы, собственно, решили придать нашему "салону смерти"

хоть какой-то намек на домашний уют. Может, и смешно, но мы поддались на это искушение и повесили рисунок на шершавую нештукатуренную стену, поближе к окну.

Висел он там всего одни сутки. На следующий дет.

возвратившись с работы, рисунка на стене мы уже не нашли.

Сразу же, как только нас погнали на дорогу, в "салон"

забежал с собакой на ремешке тоненький, как девушка, белокурый красавчик с маникюром на ногтях - второй помощник коменданта, унтершарфюрер Курт Каммлер, или, по-нашему, просто Хорт. Сашка это совсем не удивило. Ведь теперь каждое утро кто-нибудь из охраны проверял, все ли вышли, не остался ли кто случайно и не произошло ли в "салоне смерти" каких-нибудь недозволенных перемен.

Остановившись в дверях, Хорт окинул быстрым, профессионально острым взглядом все помещение и, заметив

рисунок, подошел ближе. Придерживая пса, который рвался с поводка, постоял какое-то мгновение молча, приглядываясь внимательнее. Потом удивленно, протяжно свистнул, что-то сказал, возможно, даже спросил. Говорил он очень быстро, и Сашко не понял, да и не старался понять. Не дождавшись ответа, Хорт выругался - это Сашко уже хорошо понял, - сорвал рисунок, бросился к дверям и снова остановился. Постоял, будто колеблясь, потом подбежал к Сашку и бросил ему в лицо две сигаретки. Еще раз, теперь уже более или менее доброжелательно, выругался и стремглав вылетел в дверь, рванув пса так, что тот даже заскулил от боли и неожиданности.

Первое ощущение было такое, будто нас обокрали.

И еще не давала покоя какая-то неосознанная неловкость или даже стыд. Так, словно обнаружили перед врагом свою слабость, раскрыли что-то такое, чего перед врагом, из гордости и презрения к нему, никогда не раскрывают.

Кто-то высказал предположение, что рисунок понравился Хорту. Дмитро в эту фашистскую сентиментальность не хотел верить. Обругав их мерзавцами и тварями, он утверждал, что сделано это умышленно, чтобы лишить нас даже такого маленького утешения, и что его рисунок уже превратился в пепел в комендантской плите... А вообще особого значения этому случаю парень не придавал, и через день-два вся эта история забылась бы... если б Дмитро не ошибся, запамятовав о врожденной немецкой сентиментальности, от которой еще не успели избавиться даже эсэсовцы.

В следующий же вечер выяснилось, что рисунок не сгорел. Целый-целехонький висел он на стене в унтерофицерской половине дома. Дзюба видел это собственными глазами, когда, вместе с другими пленными, заносил в сени дрова.

Дмитра от этой вести всего даже передернуло. Парень впервые, с тех пор как прибыл к нам, крепко, крутыми словами, выругался и, раздраженный, забегал из угла в угол:

- Этого еще только не хватало! Ублажать эсэсовские "души" своими рисунками!

От одной мысли о том, что его работа ласкает глаз эсэсовцев, он просто в ярость приходил, злился, возмущался, стыдился самого себя, искренне веря, что хотя и без желания, хотя и невольно, но поступил позорно. Проклинал свою неосмотрительность и свои неспокойные, видно, уже не раз подводившие его руки.

Откровенно говоря, все это казалось нам очень уж преувеличенным.

- Если бы только и горя, - бросил кто-то из присутствующих.

Кто-то попытался превратить все это в шутку. Другие утешали парня. А Дзюба даже накричал на него, чтобы он успокоился и не раскисал.

Все это расстроило Дмитра еще больше. Сгоряча он обвинил всех нас в том, что это будто мы довели его до такого позора, и, не на шутку взволнованный, выбежал из "салона". Бродил где-то минут десять, но вернулся к нам, гак и не успокоившись.

- Так опозориться! - бормотал он, зачем-то роясь в соломе и пепле возле плиты. - Просто позор!.. Ну, хорошо же! Подождите, я вас еще не так потешу!

Мы не задумались над тем, к кому были обращены эти слова. Может, даже к нам. Угроза была, разумеется, немного странной, но чего только не скажет человек, разволновавшись! Да еще при таких обстоятельствах и в таких условиях. Тут порой и старшие, с более закаленными нервами, не выдерживают.

Мы просто не обратили внимания на его слова, так же как не придали значения и тому, что Дмитро снова вышел из "салона смерти".

Как и всегда, полумертвые от усталости, измученные, мы в тот вечер уснули рано. Спали каменным, хоть и каким-то болезненным, который так и не приносил отдых:1, сном. Вообще находились в таком состоянии, когда всо время хочется спать, и, если б можно было, мы засыпали бы где угодно и когда угодно. Да и ночь тогда выдалась довольно теплой. С вечера небо затянуло тучами, ветер утих, и все в природе замерло. Стало даже душно, хотя была только середина апреля.

Сквозь сон ночью кое-кому из нас послышалась близкая пулеметная очередь. Однако никого она не разбудила, и, проснувшись утром, товарищи решили, что это был обычный болезненный бред.

Утром нас почему-то выстроили в две шеренги вдоль ограды коровника и, не давая "завтрака", не выгоняя на дорогу, держали так добрых полчаса. Мы начали уже тревожиться и недоуменно переглядываться. Но... тут следует сказать еще несколько слов о нашем концлагере.

Как уже известно, двор его был разделен надвое. Чтобы выйти на улицу из коровника, надо было пройти две калитки и ворота. Калитка, которая вела из концлагеря к комендантскому двору, была почти всегда запертой. Вторая, тоже узенькая, в ограде коровника, закрывалась только в исключительных случаях, когда комендант карал нас, приказывая загнать в коровник и держать там, не выпуская во двор.

Именно посреди "нашего" двора, между двумя калитками, и был вкопан в землю печально известный, гладко отесанный и

немного укороченный телеграфный столб.

Под тем столбом - лобным местом концлагеря - расстреливали наших товарищей, к тому столбу нас прикручивали колючей проволокой, часами выдерживая на жгучем морозе, секли плетями и травили собаками для устрашения лагеря, а то и всего села.

Там же, на том столбе, комендант вывешивал свои письменные предупреждения и угрозы. Для этого вверху на столбе были прибиты три планки с пазами. В пазы верхних планок входил большой, почти метровый лист дикта. В пазы нижних - в три раза меньшие.

Планки, пазы, размеры, дикт - все было пригнано и обдумано с классической педантичностью.

Гарнизон концлагеря получал продукты и разное имущество в больших и малых всегда одинаковых, стандартных диктовых ящиках. Неструганые деревянные планки этих ящиков шли на топливо, а верхние и нижние листы фанеры, к размерам которых и были подогнаны планки с пазами на столбе, комендант использовал для своих предупреждений и запретов, большей частью старательно, можно сказать, с любовью, выписывая их собственноручно какой-то черной густой смолой. Слова запрета писались большими латинскими буквами, а перевод их по-русски дописывал уже переводчик где-то сбоку мелкими, которых снизу и не прочтешь, каракулями. Четко размеренные в пазах планки давали возможность легко и удобно вставлять и вынимать из них диктовые листы. Красовались на тех листах почти всегда одни и те же надоевшие нам слова "Achtung", "Verboten", "Halt", "Todt". Возвышаясь над оградой, они легко бросались в глаза каждому не только из окон и дверей коровника, но даже с улицы...

Со времени появления в лагере новых заключенных большой лист фанеры на столбе почему-то не менялся и производил впечатление довольно-таки запущенного, что явно было не в характере гауптшарфюрера. "Achtung"

и "Verboten" уже почти совсем смыли весенние ливни.

Да и вообще мы на них не обращали никакого внимания, понуро проходя мимо лобного места.

Точно так же, опустив головы, стояли мы и теперь лицом к комендантскому двору.

За речкой, из-за далеких, покрытых синеватым маревом холмов, красным гигантским мячом выкатывалось солнце. Ночные тучи расступились, и над селом нежно светилось голубизной высокое небо. Прозрачным, синевато-розовым туманом дымилась влажная земля. Звонким, кристально чистым, поднималось над миром весеннее утро.

А мы стояли невыспавшиеся, неотдохнувшие, даже после сна голова была тяжелой, словно налитой свинцом.

Боль волнами переливалась по нашим истощенным телам, колола в сердце, ломала грудь и сводила мышцы. Холодно и неуютно было нам. И тревожно оттого, что не знали и не могли понять, чего еще хотят от нас наши палачи.

Вот наконец из хаты вышел комендант.

Отглаженный, хорошо сшитый мундир, высокая новенькая фуражка, старательно выбритые розовые щеки.

Самодовольный, упиваясь своей властью, шел, пружиня ногами, похлестывая себя по начищенному голенищу резиновой дубинкой, левой рукой таща на поводке здоровенного темно-серого ленивого волкодава. За волкодавом на расстоянии нескольких шагов крадущейся походкой шел высокий тонконогий верзила в черном костюме и с белой повязкой на рукаве - переводчик. Лицо у него было какое-то птичье, с большим, как бы сплющенным носом. Под носом щеточкой - черные, гитлеровские усики и лоснящиеся красные губы.

Сверля каждого из нас взглядом больших холодных глаз, Пашке прошел вдоль ряда. Мы, как и перед тем, стояли потупившись. Охрана, особенно полицаи, при приближении начальства торопливо вытягивалась. Пес уже рвался к нам и, припадая на задние лапы, люто рычал.

Переводчик, с подчеркнутой почтительностью, строго придерживаясь дистанции, вкрадчиво ступал вслед за комендантом. А тот, повернувшись назад, остановился как раз у середины шеренги. Еще раз окинул всех каким-то будто испытующим, удивительно спокойным взглядом. Затем усадил пса на задние лапы и неторопливым, но властным движением руки с зажатой в кулаке резиновой дубинкой неожиданно указал на столб:

- Кто?!

Не понимая, что и к чему, мы перевели взгляд на столб, на диктовый лист, и... в первое мгновение так ничего и не поняли, потому что приготовились увидеть все, что угодно, но только не то, что увидели.

Большой, почти метровый лист дикта, вставленный з пазы на столбе, отражал и повторял картину, которая предстала сейчас перед нашими глазами на земле: на дикте точно так же красовался эсэсовец с резиновой дубинкой в руке, а рядом с ним сидел волкодав... Правда, лицо эсэсовца на дикте не походило на лицо коменданта.

То был самый обычный, так сказать, типичный эсэсовец.

Но зато пес на дикте был очень похож на живого. Только

казался крупнее, так как был нарисован в один рост с эсэсовцем.

Самым удивительным на рисунке было почти неуловимое в чертах, но разительное в настроении сходство выражения морды пса и эсэсовца. Во всем же другом - эсэсовец как эсэсовец: хорошо пригнанная форма, сапоги, фуражка, парабеллум и даже по две буквы "СС" на воротнике! Те же буквы "СС" повторялись на жетоне у пса, висевшем на его шее.

Картина написана на дикте обыкновенным углем из перегоревшего дерева. Внизу - четкими фигурными буквами надпись: "Сучьи сыны!" Еще ниже, в виде перевода, - "Shutz Staffeln".

- Кто? - еще раз сдержанно-холодным тоном повторил комендант. И хотя все было ясно и без этого, переводчик, выпрямившись и еще больше вытягивая длинную шею, перевел одно это немецкое слово пышной фразой:

- Комендант лагеря, гауптшарфюрер войск СС господин Иоганн Рудольф Пашке спрашивает: кто посмел учинить это непотребство?!

Новички молчали, так ничего и не понимая и еще больше удивляясь. Они еще не постигли и не могли постичь трагизма увиденного и услышанного, трагизма, который сразу остро ощутили мы - жильцы "салона смерти".

Все мы сразу, как только улеглось первое впечатление от неожиданности, ясно поняли, чьих это рук дело.

И только еще ниже опустили головы, чтобы ненароком, неосторожным взглядом не выдать виновника, который, на удивление спокойно, с откровенно довольным выражением лица, стоял тут же, среди нас.

Комендант бросает еще несколько слов. И в голосе его слышатся уже нотки нетерпения и раздражения. Переводчик, глядя ему прямо в рот, снова переводит этот скупой выкрик целой тирадой:

- Комендант лагеря, гауптшарфюрер войск СС господин Иоганн Рудольф Пашке дает две минуты на размышление и предупреждает, что если вы будете молчать, то он вынужден будет всех вас строго наказать. Альзо!

Нестерпимо долго тянулись эти тяжелые минуты. Они гнули нас к земле, словно чугунные гири. Казалось, что в эти короткие минуты земля проваливается у нас под ногами и снова гибнет все: горячие ожидания, надежды на жизнь и освобождение, гордое желание уберечь, спасти этого чертовски щедро одаренного, но неосмотрительного и отчаянного парня, который даже в этом написанном углем на дикте шарже оказался таким способным и таким остро наблюдательным, не говоря уже о его смелости и

ловкости, с какой все это было проделано. "Не уберегли того, чем только и жили все эти дни. Прозевали!" - угнетала каждого тоскливая мысль.

А нудный голос переводчика уже снова въедался в сознание, как холодная осенняя изморось сквозь одежду:

- Комендант лагеря, гауптшарфюрер войск СС господин Иоганн Рудольф Пашке приказывает лишить всех вас еды на трое суток. Гауптшарфюрер... слушаю, герр комендант! Герр комендант обещает отменить свой приказ, если через две минуты преступник объявится. Если же он не дождется ответа на свой законный вопрос, тогда... Bitte, герр комендант... Слушаю! Тогда комендант лагеря, гауптшарфюрер войск СС господин Иоганн Рудольф Пашке приказывает своему заместителю, унтершарфюреру войск СС господину Курту Каммлеру отобрать десятого с левого фланга и отвести его к столбу.

Если еще через две минуты преступник не объявится, десятый с левого фланга будет расстрелян.

Все стояли недвижимо, как стояли и до этого. Но...

две минуты. Две бесконечно долгие и молниеносно короткие минуты! Невидимый ледяной сквозняк пронизывает грудь. Две минуты. Как же дознаться... кто? Кто - десятый с левого фланга? Я или сосед? Сосед или я? А не все ли равно?..

- ...гауптшарфюрер войск СС... предупреждает заранее, что, если через две минуты после расстрела десятого с левого фланга преступник не объявится, господин комендант прикажет именем великой Германии и боготворимого фюрера немецкого народа Адольфа...

Но закончить переводчик уже не успевает.

- Я рисовал! - звонко бросает Дмитро и, твердо ступая на искалеченную, будто одеревеневшую ногу, решительно выходит из ряда и останавливается в трех шагах от Пашке.

Овчарка, зарычав, натягивает поводок. Переводчик округляет глаза, да так и застывает с раскрытым ртом и вытянутой шеей.

Дмитро, глядя прямо в лицо эсэсовца отчаянно-решительным взглядом, повторяет:

- Я рисовал!

Пашке тоже, верно, не ожидая такого, удивленно поднял брови. Какую-то минуту непонимающим и холодным взглядом недоверчиво ощупывал Дмитра, будто прикидывая, можно ли ему верить. Потом совсем просто, скорее из любопытства, чем гневно, спросил:

- Ты?

- Я! - звонко и горячо, боясь, что ему могут и не поверить, отвечает Дмитро.

- Ферфлюхт! А ты - смелый! - Комендант тычет палкой на рисунок: - А что там написано?

- Известно что, - говорит Дмитро уже тише. - Эсзсовцы, то есть Shtitz Staffeln, только по-нашему...

- Не там! Выше!

Дмитро, к нашему удивлению и страху, даже ухмыльнулся:

- Ну, я же и говорю... То же самое, только по-нашему!

Пашке пожал плечами и взглянул на переводчика.

Тот мгновенно вытянулся и опустил взгляд.

- Так? - спросил Пашке.

- Т-так, - соврал переводчик, смертельно боясь сказать эсэсовцу такую дерзкую и страшную правду.

- Зер гут! - неожиданно бросил Пашке и, вдруг потеряв интерес ко всем нам, да и ко всей этой церемонии, нетерпеливо махнул дубинкой и приказал гнать пленных на работу.

8

Нетрудно представить себе, что это была за работа и с каким нетерпением ждали мы вечера, едва не выходя из себя от охватившей нас тревоги и волнения.

Чго там в лагере? Что там с Дмитром, который стал теперь для нас самым родным на свете человеком? Жив ли он еще?.. Может, уже там Пашке с него, живого, кожу сдирает?.. Каких только ужасов не представили мы себе за день, чего только не передумали!

Что-то очень значительное, что-то несказанно дорогое вошло в нашу жизнь в этом адском закутке с появлением Дмитра. Потеря Дмитра теперь казалась нам потерей чего-то большего, чем собственная жизнь, чего-то такого, что нам никогда и никто не простит. Не только та чудесная девушка Яринка или его родные, о существовании которых мы ничего не знали... Нет, еще и кто-то более значительный, чем они! А мы бессильны, ну совсем ведь бессильны хоть чем-то помочь этому горю, бессильны спасти товарища...

В лагерь, этот постылый, ненавистный лагерь, мы впервые с того дня, когда нас туда бросили, спешили, не чувствуя усталости. Тревога, страх, отчаяние, безысходность и бессилие заглушали и усталость, и все иные чувства.

А Дмитро, живой и даже не избитый, а только очень опечаленный, стоял в дверях коровника, встречая нас своей ясной улыбкой и искренне радуясь тому, что снова нас видит.

Произошло чудо! Такое чудо, что если бы вместо живого и нераненого Дмитра стал пред нашими безбожными глазами вторично воскресший Христос, мы были бы этим менее удивлены.

Видеть Дмитра было для нас такой радостью и такой

ошеломляюще счастливой неожиданностью, что нервы наши не выдержали. И все мы от этой большой радости начали ругать парня и корить его самыми язвительными словами. Обзывали его мальчишкой, психом, полоумным, сумасшедшим и даже дурнем. Упрекали в легкомыслии, анархизме и нетоварищеском поведении.

- Ты ведь только подумай, сумасшедший ты человек! - отчитывал Волоков. - Разве ж можно в наших условиях выкидывать такие фокусы, да еще и не посоветовавшись с товарищами? Второй раз, если сделаешь чтонибудь подобное еще, - и видеть тебя не захотим!

- Ну да! Так, бывало, и мой дед говорил: если, говорит, утонешь, хлопче, то и домой не возвращайся! - совсем не обижаясь, еще шире улыбнулся Дмитро, будто мы говорили ему бог знает какие приятные вещи.

- А смеяться тут, между прочим, нечего! - уже понастоящему вскипел Микита. - Ведь вместе со своей глупой головой ты рискуешь тем, что должно принадлежать не только тебе... Ты и весь коллектив, весь лагерь подводишь своим легкомыслием! Ты же единственная ниточка, связывающая нас всех с внешним миром. И ты, по собственному легкомыслию, хочешь ее сознательно оборвать.

А это уже хуже, чем легкомыслие, сам подумай! Надо было тебе дразнить этих псов без надобности...

Услыхав это, Дмитро сразу приуныл. Улыбка постепенно сошла с его лица, голова склонилась на грудь, и, глубоко огорченный, он начал оправдываться:

- Как же это - без надобности? Мне, разумеется, очень больно и стыдно, что мог подвести всех вас... Очень мне неприятно... Но я не мог... Вот хотите - верьте, хотите - нет, но не мог! Я должен был, слышите, должен был смыть со своих рук и совести грязь той картинки! Должен! - повторял он упрямо, возбужденно, со страстной убежденностью. - Должен! Пока я еще живу, я живу не для того, чтобы делать приятное эсэсовцам!

- И все же ты должен сейчас дать слово всем нам, что ничего подобного больше не сделаешь, не посоветовавшись с нами. Ты должен считаться с волей коллектива, если...

- Если только это не будет задевать моей совести и не будет противоречить моим убеждениям.

- Ты ч го ж, думаешь, что мы будем толкать тебя на позорные поступки? возмутился Микита.

- Да что вы! -даже ужаснулся Дмшро. - Вы меня просто не так поняли. Я только о том, что отступать перед "ними", спуску давать "им" не буду, пусть хоть убьют!

- Но и анархия тут ни к чему. Сам же сказал, что комсомолец! Должен понимать. Спасти и поддержать нас и нашу честь может здесь только железная дисциплина.

Согласен?

- Да, согласен, - хмуро кивнул головой Дмитро, через силу преодолевая свой вспыльчивый характер. - Я привык отвечать за свои поступки сам, но... соглашаюсь... Тут один за всех и все за одного. Только так...

- То-то же, - уже мягче отозвался Микита и, только теперь вспомнив, что мы еще так ничего и не успели расспросить, приказал: - Ну, давай рассказывай скорее, как это ты отколол такое и как оно тебе с рук сошло?

- Эх, если бы только сошло! - грустно, почти с отчаянием воскликнул Дмитро.

Мысль поглумиться над сентиментальными садистами пришла неожиданно тогда, когда он, разъяренный, выбежал из коровника и на глаза ему попался комендантский столб. Все, что он должен был сделать, возникло в его представлении внезапно и ярко, как вспышка молнии. Не раздумывая и все еще волнуясь, Дмитро лихорадочно взялся за дело.

Забившись среди товарищей, которые жили в коровнике, Дмитро так и не вернулся в "салон", выждал, пока все уснут и в лагере станет тихо. Ночь выдалась ветреной и темной, все небо обложили тяжелые, клубящиеся тучи.

Ветер, темень и незапертая на этот раз калитка во внутренний двор позволили парню незаметно вытянуть диктовый лист из пазов. Но после того, когда хлопец с этим листом очутился в безопасном месте за стеной и немного успокоился, он должен был с досадой убедиться, что рисовать в такой темноте даже углем, даже линиями едва не в палец толщиной, даже на метровом куске дикта, можно разве что вслепую...

Только теперь, поостыв, понял, что весь его пыл пошел насмарку, и, сникший, обессиленный, растянулся на только что вытащенном дикте.

Лагерь спал. Скованные усталостью, пленные вокруг стонали, скрежетали зубами, что-то выкрикивали и всхлипывали, мечась в кошмарных лихорадочных сновидениях. Дмитра терзала, не давала уснуть досада, злость из-за неудачи. Он лежал на спине, с широко раскрытыми глазами и под свист и завывание ветра в возбуждении мысленно рисовал себе далекое, неимоверно далекое, почти сказочное время, когда в родном и каком-то новом Киеве, в солнечном, с широкими окнами зале откроется скромная выставка эскизов, этюдов, зарисовок, писанных на том материале, который попадался ему под руку. Выставка, которая потрясет,

должна потрясти сердца глубиной человеческих страданий, умопомрачительной дикостью фашистских злодеяний, силой и непоколебимостью духа простого, ослабленного физически человека; человека, который из любви к своему народу, отчизне, преданности высокой, гуманной идее может одолеть неодолимое, такое, что, казалось бы, не под силу человеческому терпению, выдержке, психике; человека, которого ничто не сломило и который выдержал самое страшное...

И будет на той выставке одна-единственная большая картина. Картина, которая и через сотню лет правдиво засвидетельствует перед тем грядущим, счастливым, неизвестным поколением, которое, возможно, уже не будет знать ни войн, ни мук и страданий, которые несет с собой война, засвидетельствует перед ним, что... такая страшная война в самом деле была, что такие "цивилизованные" человекоподобные чудовища, называвшиеся фашистами, действительно существовали; и что человек, пройдя сквозь неимоверное, может, даже и непонятное людям будущего, нового, только что нарождающегося мира, выдержал, не сломился, не утратил веры и победил.

А он, Дмитро, был рядом, все это знал, слыхал, чувствовал и видел собственными глазами. И поэтому такая картина его или, может, кого-то другого должна быть и действительно будет когда-нибудь после победы. Потому что как бы ни было трудно, а победить обязательно надо, пройти через невозможное, ценой самого большого напряжения сил, ценой страшнейших испытаний, ценой самой жизни. Ведь нельзя же и в самом деле оставить мир в лапах этих гауптшарфюреров и ефрейторов!

В пылу воображения рисовались картина за картиной, летели и исчезали в безвестности час за часом, и смотрели куда-то вдаль, прозревая сквозь темноту, широко раскрытые глаза. Смотрели далеко-далеко, не сразу замечая, что тут, над головой, ветер уже разогнал тучи, что выплыл полный месяц, стоит, как в песне, ночь - "м!сячна, зоряна" и "видно, хоч голки збирай...".

А Дмитру иголок собирать не нужно. Ему нужно сделать хотя бы то, что он в силах сделать сейчас, - написать большими кусками угля на дикте остроумную, едкую и язвительную сатиру.

Рисовал он при лунном свете, примостившись под стеной коровника. Рисовал увлеченно, лихорадочно, с наслаждением мстителя. Стер на дикте горсть твердых, мелких угольков и закончил еще задолго до рассвета.

Луна уже садилась, скрываясь за хатами и деревьями. По земле тянулись длинные густые тени. Но вставить дикт снова незаметно между планками на столбе не удалось. Парень неосторожно согнул фанерный лист, и тот, распрямляясь, бахнул

так, словно кто выстрелил. Часовой, сидевший на вышке возле ворот, услыхал какой-то треск, заметил возле столба движущуюся тень и, не особенно встревожившись, а так, больше для порядка, полоснул в том направлении очередью из пулемета.

Пули с сочным чмоканьем впились во влажную землю где-то совсем близко от распластанного на земле Дмитра.

Назад, в коровник, пришлось ползти на животе, таща вдруг отяжелевшую, негнущуюся ногу. Правда, паники фашисты не подняли. Из окна о чем-то спросил спросонок унтер, солдат с вышки что-то крикнул ему в ответ.

Унтер вышел во двор, обошел вокруг столба, зевнул, посвистел, повернул к хате, и все стихло.

Утром нас выстроили, как по тревоге. Комендант разыскал виновника ночного инцидента, потом приказал вывести пленных на работу без завтрака, и... Дмитро остался в эсэсовских лапах, одинокий и безоружный.

Как только закрылись за нами тяжелые, обитые железом и опутанные проволокой ворота, двое эсэсовцев схватили готового ко всему - на смерть и на муки - Дмитра и привели прямо в комнату коменданта.

Эта комната была плотно набита награбленной и отобранной у расстрелянных или интернированных мебелью и коврами.

Она напоминала скорее небольшой, забитый антикварными вещами комиссионный магазин, чем обычную комнату. А над всем этим хламом возвышался в тяжелом бронзовом багете сам пучеглазый фюрер.

Пашке сидел уже в большом ковровом кресле, которое стояло перед тяжелым, резным дубовым столом. Слева от него примостился неизменный его спутник волкодав, справа стоял, вытянувшись, долговязый, словно заморенный, переводчик.

Эсэсовцы остановились на пороге, крепко держа Дмитра за руки.

Дмитро стоял потупившись, прикусив губы и думая, что именно здесь его подвергнут каким-то особенным, неизвестным еще пыткам и истязаниям, что будут о чем-то выспрашивать, и очень боялся, что закричит, не выдержав тех мук. При одной мысли об этом он весь вскипал от возмущения и поклялся себе: "Ни одного стона, ни одного звука..."

А комендант сидел совершенно спокойный, чем-то даже явно довольный. В руках вертел дощечку с тем злосчастным идиллическим рисунком, который, по всему видно, действительно пришелся по вкусу сентиментальным эсэсовским душегубам.

- Ты? - лаконично кивнул на дощечку комендант.

- Комендант лагеря, гауптшарфюрер войск СС господин Иоганн Рудольф Пашке спрашивает, ты ли нарисовал это безобразие? - как заведенная пластинка, затараторил переводчик.

- Я, - решил не отпираться Дмитро.

Пашке настороженно (не врет ли?), но с интересом осмотрел парня с ног до головы и резко, от себя, махнул правой рукой.

Эсэсовцы сразу же выпустили Дмитра из рук.

- Ты... - комендант с ударением произнес это слово. - Ты умеешь рисовать?

Переводчик, хотя Дмитро понимал все и без него, снова перевел этот краткий вопрос по привычному трафарету с полным титулом эсэсовского унтера.

- Да... немного, - неуверенно отвечал Дмитро, с боязнью и чувством горькой досады догадываясь, что происходит тут что-то совсем не то, чего он боялся и ожидал:

что его торопливый, лихорадочный выстрел не попал туда, куда он целился, или Пашке прикидывается просто, что ничего не понял. А может... может, и в самом деле ничего не понял? Подпись ему не перевели, побоялись, а рисунок... Оскорбительное содержание его могло и в самом деле не дойти, ибо СС - охранные отряды - сами считают за честь служить фюреру со слепой, собачьей преданностью. И ничего оскорбительного в этом не усматривают.

И он, выходит, вместо того чтобы донять, просто подчеркнул самое существенное, чуть ли не польстил?

Чем дальше, тем больше походило на то, будто так оно и есть, потому что вообще все пошло черт знает как.

- Ты учился рисовать? - спросил Пашке, вертя в руках дощечку. - Где?

- Да, немного... Самоучкой в школе.

От неожиданных поворотов, которые бросали парня от жизни к смерти и снова будто к жизни, Дмитром овладела слабость. На лбу большими каплями выступил пот.

- Ты имеешь образование?

- Да... обычное школьное

Дмитру было стыдно за свою слабость, пот и вялые невыразительные ответы. Ведь со стороны можно было подумать, что все это от страха перед никчемным унтером. Парень злился на самого себя; он мог держать себя в руках, мог даже отвечать спокойно, но слабость и пот не зависели от его воли, и предотвратить это у него не было сил.

- Гм... Доннерветтер! У тебя, пожалуй, могло бы что-то выйти. Комендант поднес дощечку к самому носу. - Если бы это была настоящая картина, - широко развел он руками, вероятно считая,

что настоящая художественная ценность картины заключается в величине размеров полотна, это выглядело бы совсем неплохо.

Гм... А ты это сумел бы нарисовать? - не поворачивая головы, он взял со стола и показал Дмитру обычную, размером в почтовую открытку, фотокарточку.

Только теперь, наконец, Дмитро сообразил, что к чему! Опьяневший от крови и безграничной власти, унтер вдруг почувствовал себя чуть ли не герцогом или курфюрстом, которому только не хватало еще личного, придворного живописца, чтобы увековечить свою и своих близких драгоценные персоны.

- Надо это, понимаешь, увеличить так, чтобы застеклить вот в этой рамке, - показал унтер-курфюрст на пустой, наверное, около метра высоты, багет.

А с фотокарточки на Дмитра таращила глаза еще довольно молодая, но неприлично раскормленная фрау с бюстом портновского манекена и физиономией интеллигентной торговки. Фрау манерно позировала, сидя на гнутом венском стуле на фоне нарисованного пейзажа - замок, водопад и лебедь - и придерживая за руку золотушного киндера, у которого были глаза и нос унтера Пашке.

Чувствуя, как кровь приливает ему к лицу от возмутительной, страшной перспективы докатиться до придворного маляра унтера СС, Дмитро какую-то минуту бессмысленно переводил глаза с фотографии на бронзовый багет и, наконец, сосредоточившись, собрав всю свою выдержку, ответил:

- Боюсь, господин комендант, - прикинувшись косноязычным, дерзко посмотрел он прямо в глаза Пашке, - боюсь, что не справлюсь с таким почетным заданием.

Я никогда еще не рисовал портрета жены гауптшарфюрера, у меня просто не выйдет.

- Доннерветтер! - принял это за чистейшую правду уитер. - Ты должен. Ты рисовал какую-то грязную украинскую девку, и это тебе было нетрудно. То как же может не выйти, если ты будешь иметь честь рисовать благородные арийские лица жены и сына твоего коменданта? Сознание такой высокой чести уже само поддержит тебя и поможет!

- Вот именно этой высокой чести я и боюсь...

- Ферфлюхт! Завтра ты будешь иметь настоящие немецкие цветные карандаши и настоящую немецкую бумагу. А немецкие карандаши и бумага, как и все немецкое, самые лучшие в мире! Ты никогда не рисовал немецкими карандашами на немецкой бумаге и даже представить себе не можешь, какое это огромное наслаждение! И ты не бойся. Если сначала у тебя что-то будет и

не так - я наказывать не буду. А теперь - хватит! Иди пока что и отдыхай! Освободить его от работы и выдать...

выдать десяток картофелин. Ну, можно и пять сигарет, - уже окончательно расщедрился Пашке. - Иди! Ты все же нарисуешь это, доннерветтер!

9

- И ты все-таки будешь маляваць гета паскудства, - твердо сказал Микита, когда мы выслушали Дмитра и начали советоваться, как ему быть.

- Думаете, что я должен марать руки этой гадостью? - выслушав наш приговор, умоляюще переспросил Дмитро.

- Руки твои останутся чистыми. И весь грех, так сказать, мы возьмем на себя, а тебе просто приказываем сделать это. Поручаем, если хочешь знать, как боевое задание...

- Если надо, я могу пойти на самые опасные задания, полезть на проволоку, броситься с голыми руками на Пашке, но рисовать эти рожи, унижать перед ними то, что я не имею права унизить...

- Во-первых, ты сам безрассудно впутался в эту историю и поставил под угрозу и себя, и весь коллектив, а во-вторых, - в белых перчатках победу не одерживают.

Как хочешь, но ты должен усыпить настороженность эсэсовцев, развеять их подозрения...

- Усыпить?

- Да. Это - если хочешь - приказ. И, наконец, нам тебя не учить. Проявлять свои способности в этом деле никто тебя не принуждает.

Таким удрученным и расстроенным Дмитра мы еще ни разу не видели. Он был более веселым даже там, во дворе, когда, казалось, решался вопрос о жизни и смерти.

Да и мы чувствовали себя далеко не так хорошо, как делали вид. Нам жаль было парня и неловко перед ним.

Но что мы могли сделать? Рисковать его жизнью и единственной надеждой на освобождение всех? Нет, пусть уж будет так, пусть его умение послужит общему делу.

И пусть совесть его будет спокойна. Пока мы живы и будем жить, мы никому не позволим даже в шутку укорять Дмитра. А комендант, мы полагали, тем временем отстанет, даст нам хотя бы временный "покой", и, наконец, так или иначе мы одержим победу над эсэсовцами. Так мы тогда думали, даже не подозревая, какие еще тяжелые испытания ждут нас впереди.

Долго стоял Дмитро, опершись плечом о стену и низко опустив голову. Потом порывисто тряхнул чубом и обвел всех долгим печальным взглядом.

- Ну что ж... Хорошо. Если уж надо рисовать, то вынужден рисовать. Обязательно нарисую, - сказал он с нажимом на последнем слове. И улыбнулся.

Улыбка эта нас не успокоила, еще больше опечалила и насторожила. Чувствовалось - неладное что-то творится с Дмитром и вообще все идет, как по пословице: беда беду перебудет, одна минет - десять будет...

На другой день мы снова выходили на работу без Дмитра. "Придворный художник унтера-курфюрста" не по своей воле провожал нас таким печальным взглядом, будто мы бросаем его одного на страшные мучения.

Не погнали Дмитра на работу ни в тот, ни на следующий, ни

на третий день. Настоящими немецкими карандашами, на настоящей немецкой бумаге он должен был рисовать настоящую арийскую семью, настоящего эсэсовского гауптшарфюрера, или, проще говоря, старшего унтера. И единственной живой душой на весь долгий весенний день оставался с ним тяжело, возможно, даже смертельно больной Сашко, который ни утешить, ни успокоить его уже не мог. Хотя возможность постоянно присматривать за больным товарищем как-то отвлекала от мрачных мыслей.

Парень страдал. Его мучила эта неожиданная, навязанная комендантом (а в конце концов, и нами) работа.

Он едва сдерживал свое возмущение и сгорал от стыда.

Смущаясь, просил нас, чтобы его "позор" скрывали, хотя бы до поры до времени, от остальных товарищей, которые жили в коровнике. Пусть это будет только, так сказать, семейным позором нашего "салона смерти".

Рисовать он начинал лишь после того, как мы выходили за ворота, и заканчивал заблаговременно, пока мы еще не возвратились с работы, скрывал все от товарищей из коровника, которые уже освоились и начали без страха заглядывать в наш "салон".

Чтобы отдалить конец этой позорной работы, тянул как только мог. Простодушный, теперь вынужден был изворачиваться и пускаться на хитрости. Думая не только о сегодняшнем дне, но и о будущем (мало ли что взбредет в опьяневшую от власти голову унтера!), должен был доказывать, что он самый обыкновенный самоучка, от которого трудно требовать чего-то заслуживающего внимания и достойного "высокого" вкуса эсэсовского унтерфюрера.

Легкий на руку, смелый и, бесспорно, блестящий мастер рисунка, он применил тут, можно сказать, интернациональный "метод", присущий, наверное, всем халтурщикам-копиистам мира, которые в поте лица когда-либо трудились на потребу и удовлетворение вкусов и безвкусицы мирового мещанства. Ибо эта "метода" и "техника", будучи единственно доступной "высокой" образованности и художественным вкусам гауптшарфюрера, должна была бы засвидетельствовать и дилетантство художника.

Фотокарточку Дмитро плотно обернул прозрачной тонкой бумагой (Пашке ради высокой цели удовлетворил все его требования) и по ней, чтобы не испортить ценного оригинала, остро очинённым карандашом нанес густую квадратную сеточку. Такую же, соответственно увеличенную сетку нанес и на большой лист александрийской бумаги, приколотой кнопками к тому

дикту, на котором были нарисованы "сучьи сыны" и которых не понял или прикинулся, что не понимает, Пашке. Трудился Дмитро над этой сеткой чуть ли не два дня. Потом долго, нудно, с муками и ошибками наводил с помощью той сетки контуры фигур высоких особ. Особенно старательно обводил и выписывал экзотический ландшафт, на фоне которого должны вырисовываться главные действующие лица: замок на островерхой горе, водопад, озеро, пышнокрылого лебедя. Не просто выписывал, а глумился, артистически издеваясь и над тем, что делает, и над высоким заказчиком, и... над самим собой.

Тянулась эта мука и первый день, и второй, и третий.

Мы со скрытым сожалением и сочувствием наблюдали его терзания, успокаивали и подбадривали Дмитра как только могли. В душе же сами страдали и чувствовали себя так, как чувствует человек, на глазах у которого бесчестят и позорят что-то очень дорогое, родное тебе, а ты бессилен чем-либо помочь.

Напрасно притворялись мы и перед ним, и перед собой, что твердо убеждены в том, будто он делает крайне необходимое дело. Дело, которое должно усыпить бдительность врага и нанести ему поражение, спасая для жизни и борьбы самого художника и целый коллектив советских людей. Слабое это было утешение и успокаивало лишь так, для вида. На самом же деле мы терзались муками неспокойной совести, в душе так и не решив окончательно: правильно или неправильно поступили, навязав парню свою волю и лишив его возможности достойно, не идя ни на какие компромиссы со своей совестью, умереть?

Вопрос этот так нас мучил и переживали мы его так глубоко, что не сразу и заметили, как наш художник, не выдержав роли самоучки-халтурщика, неожиданно заинтересовался своим типажом. Вошел, как говорят, во вкус и... по-настоящему увлекся этой ненавистной, навязанной ему работой.

Начиная с четвертого дня, парень менялся прямо на глазах, имел довольный вид и уже должен был сдерживать себя, чтобы не спешить с этой ремесленнической халтурой.

Не все еще понимая в этой его оживленности и упоении, мы с удивлением следили за тем, как Дмитро, совсем уже поразив нас, выдвинул встречный план, предложив дорисовать на картине между супругой и сыном еще и "высокую" персону самого Пашке. А у ног "благородной арийской семьи" посоветовал примостить также и любимого комендантского пса.

Откровенно польщенный, комендант согласился на все и передал Дмитру собственное фото, на котором был сфотографирован в эсэсовском мундире.

Но это уже было черт знает что!

С парнем творилось что-то непонятное. Увлечение его было каким-то лихорадочным. Он теперь уже не думал ни о том, чтобы оттянуть работу, ни о том, чтобы выполнить ее в срок. Он неожиданно начал проявлять редкие способности, выписывая одежду, мундир, собаку с артистическим блеском настоящего художника. Возможно, его опьяняли бумага, цветные карандаши, которых он давно не держал в руках? Мы пытались его угомонить, но он уже настолько увлекся, что никого не слушал.

Необычная работа в необычных условиях медленно подходила к концу. Не без любопытства, с нетерпением следил за ней Пашке. Заранее, видимо, радовался тому, как угодит этим портретом своей фрау, как соседи и родственники будут удивляться и завидовать гауптшарфюреру, с которого уже рисуют на завоеванных восточных территориях портреты. Его подчиненные, увидев картину в золотом багете, будут завидовать тому, что у него такая красавица жена. Радовался бесспорно! Так как рассказами о том, что его жена - необыкновенная красавица, давно уже набил оскомину своим подчиненным. Но за работой следил, надо сказать, сдержанно, оберегая достоинство эсэсовского мундира и не позволяя себе никакого панибратства с неарийцем, пусть даже и художником, а все же только самым обыкновенным "диким туземцем".

Но зато его подчиненные, и не только какие-то там полицаи или венгерские хортисты, а и самые настоящие арийцы, только пониже рангом и рядовые, к большому сожалению, оказались далеко не такими выдержанными, как бы им полагалось быть. Как только услыхали, что именно затеял их унтерфюрер, как только убедились, что пленный, у которого не сгибается в колене нога, действительно что-то такое умеет, все эти унтеры, ефрейторы, просто эсэсовцы, хортистский офицер, который подчинялся немецкому унтеру, его унтеры и даже кое-кто из полицаев, забыв о субординации, рангах и мундирах, почувствовали в себе призвание настоящих меценатов и потянулись, как овцы за бараном, подражать своему старшему "фюреру".

Все они были настырными и прилипчивыми, как голодные мухи. Обступив Дмитра, который иногда рисовал в укромном уголке коровника над оврагом, они совали ему фотокарточки с изображениями своих киндеров, тучных фрау, пучеглазых фрейлейн, - растрепанных, с оскаленным ртом и замороженной улыбкой любовниц и невест. Перебивая друг друга, забыв о своем арийском достоинстве, чуть ли не унижаясь перед каким-то калекой-туземцем, просили иметь их в виду сразу же после гауптшарфюрера, расхваливали привлекательность своих фрау и фрейлейн и уверяли, что рисовать их будет очень приятно...

А ефрейтор Цункер подступался к Дмитру наедине.

Бледный, с прыщеватым лбом и огненно-рыжими, как факел, волосами, говорил он тихим, вкрадчивым голосом и беспокойно шарил вокруг зеленоватыми, пристальными глазами, в которых время от времени вспыхивали и исчезали, блуждая, безумные огоньки. В петлице у Цункера желтела нашивка за какое-то давнее ранение.

Цункер, озираясь, показывал фото своей невесты, которая стояла под деревом в декольтированной блузке, узеньких клетчатых брюках и улыбалась всем своим круглым пампушкообразным лицом. Поведав, что он женится на ней на второй же день, как только фюрер победит и закончится война, Цункер в то же время почти с мольбой упрашивал "герр майстера", чтобы тот нарисовал ее, только не просто, а "обнаженной", чтобы на ней совсем ничего не было. Герр майстер, мол, имеет способности, и сделать это ему вовсе не трудно. К тому же у фрейлейн Гильды чудесный бюст, и герр майстеру тоже будет приятно...

Все они обещали горы всякого добра, прельщали Дмитра сигаретами, маргарином, галетами, кроличьими консервами, горохом, залитым настоящим смальцем, и Даже свежим пшеничным хлебом.

Сначала Дмитро не мог от них ни отбиться, ни спрятаться. А потом, правильно рассчитав, что педантичный и до крайности ослепленный субординацией немец просерять этого не осмелится, парень начал "совершенно секретно" сообщать всем этим "меценатам", что комендант под страхом суровой кары запретил ему что бы то ни было и для кого бы то ни было рисовать. Больше того, комендант также грозился наказывать даже и тех, кто воспользуется услугами художника.

Отупевшие солдафоны - эсэсовцы и хортисты - хоть и не до конца поверили этому, все же надоедать Дмитру перестали.

Некоторое время приставал к нему только огненнорыжий Цункер. Он, со своим назойливым желанием во что бы то ни стало "раздеть" невесту, готов был идти на обман и подбивал Дмитра совершить это "раздевание"

тайно, вопреки приказу гауптшарфюрера. За это рыжий жених обещал, кроме всех прочих благ, целое кольцо домашней колбасы.

Чтобы отвязаться от этого сумасшедшего, Дмитро пообещал ему в ближайшее время обратиться к господину коменданту и попросить официального разрешения на это "раздевание". Ефрейтор почувствовал угрозу и наконец отстал. Парень не подумал, что с этого времени Цункер станет его лютым и

непримиримым врагом.

А картина тем временем завершалась довольно быстро. Уже великолепно, на вкус гауптшарфюрера, был воспроизведен красочный и экзотический "немецкий" пейзаж, тщательно выписан мундир унтера и одежда его семьи. Как живой, лежал на переднем плане, положив голову на лапы, остроухий волкодав. Белыми пятнами отсвечивали пока что только лица.

Чем ближе было к завершению, тем мягче становился Пашке. Началось с того, что однажды (просто неслыханная вещь) он позволил себе угостить Дмитра сигаретой из собственных рук. А потом уже пошло так, что Дмитро мог беспрепятственно ходить по всему двору лагеря, просить то чистый бинт, то каких-то лекарств, и ему почти никогда не отказывали. Теперь его никто не осмеливался даже пальцем тронуть, а не то чтобы толкнуть или ударить. И хотя прыщеватый Цункер и поглядывал на него с нескрываемой ненавистью, но тронуть не решался. Так явно чувствовалось и охраняло художника невысказанное, невидимое, но железное комендантское "табу".

Но и это все померкло и выглядело будничным после того, как Пашке, сам Пашке, по собственной инициативе, заметив, как во время дозволенных передач Дмитро, размахивая шапкой, подавал какие-то знаки Яринке, спросил:

- Кто?

Не дослушав неизменной формулировки переводчика:

"господин комендант и т. д. и т. п. спрашивает", Дмитро, не колеблясь, выпалил:

- Сестра! Родная сестра, господин комендант!

- Можешь подойти к воротам и поговорить с ней. Да.

да. Иди и не бойся. Я позволяю, - маршальским жестом, властно и милостиво, указал унтер правой рукой на ворота.

Дмитро и Яринка разговаривали, может, пять, а может, и десять минут. Разделяла их колючая ржавая проволока, но они держались за руки. Жадно всматривались друг в друга, радуясь этой встрече, тревожась и отыскивая те изменения, которые должна была оставить на лицах тяжелая жизнь и разлука. И оба улыбались. Дмитро ясной, по-детски ясной улыбкой, а Яринка стыдливо-сдержанной, пробивавшейся сквозь крупные скупые слезы, будто солнечный луч сквозь крупные капли летнего дождя.

Какие чувства вызвала, что принесла им обоим эта неожиданная встреча, сказать трудно. Но для нас, заключенных в концлагерь, она, наверное, значила очень много.

Во время беседы, собственно, решалась наша судьба, хотя и узнали мы об этом уже значительно позже, потому что Дмитро на этот раз рассказал обо всем лишь двоим:

Степану Дзюбе и Миките Волокову. Ну и немного больному Сашку. Да и то с единственным желанием, собственно, по необходимости, поднять его настроение надеждой и разбудить у него угасающую волю к жизни.

И хотя наше положение в целом немного улучшилось и все мы понемногу поправлялись, Сашку с каждым днем становилось все хуже и хуже...

Яринка рассказала Дмитру, что со времени их разлуки случилось много нового. Листовка с воззванием гебитскомиссара и кукишем Гитлеру на обороте с успехом была распространена в нескольких районах и наделала много шума. После того были напечатаны и пущены по рукам еще две листовки с краткими сводками Информбюро. "Молния" живет, крепнет и развертывает борьбу.

Уже удалось установить очень важные связи. Много нового должна принести весна. А пока что самым ответственным поручением "Молнии" является освобождение заключенных нашего концлагеря. Подготавливаются два варианта, которые в лагере тоже надо основательно обдумать и предложить свое мнение: побег с дороги, когда пленные будут работать в степи, с помощью боевой группы "Молнии" и подосланных в охрану своих людей, и побег из лагеря через подкоп под проволокой к оврагу изпод глухой стены коровника. Это в том случае, если в овраге и за ним удастся установить хотя бы два поста из своих людей. "Молния" постепенно накапливает оружие.

Принимаются меры к тому, чтобы устроить одного-двух своих парней в полицию. Оказывается, что это не так-то и просто. И парней трудно уговорить натянуть полицейскую форму, и фашисты да и полиция очень осторожны...

Она, Яринка, все время будет поддерживать связь с лагерем. Если им не удастся больше поговорить, они будут обмениваться знаками и зашифрованными записками, которые она будет оставлять в условленных местах на дороге или в карьере. Дмитро издали познакомил Яринку с Дзюбой и Волоковым, чтобы она, когда будет необходимо, могла связываться и непосредственно с ними. Все подробности, а также и сигнал о том, что побег подготовлен, должен подать новый "полицай", который, наверное, все-таки вскоре появится в конвое и о котором Яринка своевременно предупредит.

Трудно было сказать, как долго осталось ждать этого предупреждения и когда осуществится наше освобождение (если вообще осуществится).

Тем временем Дмитро уже писал лица "высокопоставленной гауптшарфюрерской семьи". И то, как он писал, убеждало, что

окончание работы ничего успокоительного в нашу жизнь не внесет. Парень так увлекся, что уже ничего не слышал и не замечал вокруг себя. Работал люто, упорно, на совесть. Добиваясь самого точного, самого глубокого сходства с оригиналом, он воспроизводил заново одну за другой характернейшие и внешне не всегда уловимые черты характера своих "натурщиков", он, собственно, уже и не писал, а с вдохновением разоблачал, выворачивал наизнанку самую сущность, самое глубокое "содержание" явления.

Уже заранее догадываясь, к чему это может привести, не скрывая ни своего изумления, ни страха, не имея сил ни остановить, ни предупредить событий, ждали мы завершения этого необыкновенного группового портрета.

Наконец, как и во всяком деле, работа была завершена.

Теплым апрельским вечером, на закате солнца, утомленные, голодные и избитые, едва волоча ноги, возвратились мы в лагерь. Первым делом бросились искать Дмитра. И нашли его совсем другим, не похожим на вчерашнего. Он уже не работал. Безразличный, какой-то тихий, лежал на соломе в коровнике и сквозь дыру в крыше смотрел куда-то в высокое небо. Лежал рядом с Сашком, которого сам же и перенес сюда, на свежий воздух, и рассказывал ему о чем-то очень мирном, ласковом и очень далеком от всего того, что нас окружало.

А картина (на которую художник уже и не смотрел), вполне завершенная, приколотая к дикту, стоит поодаль, прислоненная к стене. Стоит, ожидая своего заказчика, которого как раз под вечер вызвали в ортскомендатуру или контору "Тодта", удобно разместившуюся в центре местечка.

Собравшись вместе, мы молча, долго и сосредоточенно смотрели на эту картину. И видели, что, собственно, и нужно было видеть, то, что и хотел сказать Дмитро. Сказать, разумеется, не коменданту, а нам и самому себе.

Сказать и... дать ответ на свой собственный и очень важный вопрос.

Кроме нарочито утрированного и подчеркнуто ремесленнического фона, перед нами на бумаге была группа из трех человек и собаки. Мастерски выписанная одежда, поразительное, если судить по живому Пашке, портретное сходство. Отчетливо охарактеризована спесивая горделивость "арийских" поз, почти "героическая", старонемецкая надменность осанки унтера подчеркнута детально выписанной эсэсовской униформой. Одним словом, сходство внешнее и сходство, так сказать, внутреннее, скрупулезное, которого не отрицал бы самый придирчивый заказчик. Но... При взгляде на эту картину даже

менее осведомленному из нас, далекому от какого бы то ни было понимания искусства, сразу же ясно и недвузначно бросится в глаза то, что из всех четырех живых существ, изображенных на бумаге, единственным более или менее симпатичным, единственным, так сказать, "человечным" существом является только пес, который осмысленно смотрит на вас с переднего плана картины.

А кто хотел - мог бы увидеть на той картине гораздо больше, почувствовать в ней нечто более значительное и глубокое.

Перед нами была "сфотографированная" где-то у провинциального местечкового фотографа типично-средняя "положительная" семья третьего рейха. Ничего ей художник ни убавил, ни прибавил. Он только талантливо, понастоящему раскрыл, безжалостно и откровенно, многое такое, что на обычном фото могло быть скрыто, что, судя по этой картине, властно призывало с тревогой и страхом думать о судьбах всего мира...

Сквозь тупое самодовольство этой эсэсовской семьи, сквозь выродившиеся черты их лиц проступала холодная жестокость уверенных в своей правоте моральных дегенератов. Да, это была семья эсэсовца, семья "национал-социалиста", одна из сотен тысяч тех семей, в окровавленные руки которых бесноватый ефрейтор хотел передать судьбу большинства человечества нашей планеты. Да, перед нами была только одна клеточка. Но она была опорой, почвой, психологической и "духовной" базой фашизма.

Нет, что ни говори, а все это было здорово схвачено!

Дмитро разоблачал и осуждал. Он воевал! И это вдохновляло и вселяло гордость и бодрость во всех нас. Но...

не могли, никак не могли мы в эту минуту забыть хоть на мгновение о судьбе товарища, талантливого юноши. Мы знали, чем это ему грозит. Знали, что и искусство, и наше дело - непобедимы. Но сам художник может погибнуть в этой неравной борьбе.

Об этом мы не говорили. Только отводили глаза, чтобы парень не прочел в них преждевременно правду о тем, что мы чувствуем и думаем о его и о своей судьбе.

Но обмануть Дмитра было трудно. Он сразу понял все: и наше настроение, и наши мысли.

Поднявшись на ноги, он подошел к картине. Постоял, подумал и заговорил тихо, словно размышляя с собой:

- Души у них остались нетронутыми, зверино-первобытными. "Хейнкели", "мессершмитты", эрзац-резина, в которую они обули свои машины, и "майн готт" на железной пряжке. Обросшая кабаньей щетиной душа в панцире новейшей техники двадцатого

века. Слушайте, он же просто не знает, зачем ему нужен Бетховен, если достаточно "Хорста Весселя"! Они никогда не читали и не будут читать ни Гёте, ни Шиллера. "Майн кампф" и сокращенный, сжатый до размеров казарменного афоризма в "Soldaten Buch" [Солдатская книжка (нем.)] эрзац "Нибелунгов". Ремарк, Манн... Для них это только пустой звук. В крайнем случае-имена врагов великой Германии... Кстати, Ремарк или Хемингуэй... Я не знаю, что будет с теми СС, которые останутся в живых после нашей победы. Уверен только, что муки самоанализа, тонкости душевных переломов "погибшего поколения" первой войны-еда не по их зубам. А мы?

Те, кто останется? Даже такие, как мы... Те, что видели и слышали это все, самое горькое, самое страшное? Даже слепые, безногие и безрукие - мы не будем "погибшим поколением"! Не будем знать понятий, которые выражают эти слова. Потому что мы будем поколением победителей. Потому что в неискалеченных, чистых душах наших будет жить ощущение созидателей и поборников нового, справедливого мира, и оно сделает нас победителями...

Это ощущение делает нас такими сильными, что нас не испугают и не сломят самые страшные их пытки... И как бы нас ни истязали эти палачи, они всегда где-то у наших ног, как слепые кроты. А мы - крепки духом. Мы стоим высоко над ними и видим то, чего они, слепые звери, видеть не могут. Мы уже видим солнце на далеких горизонтах. Не всем суждено дойти к этим счастливым горизонтам. Кто-то должен пасть... Но даже и те, которые падут, - падут непокоренными и сильными духом.

Дмитро умолк, задумался. С удивлением, с нескрываемым восторгом и уважением смотрели на него растроганные товарищи, будто впервые увидев и поняв, кто перед ними. Ведь это впервые парень говорил с нами такими необычными, гордыми и печально-торжественными словами. В этих словах раскрывалась смелая, чистая, гордая душа, и чем-то остро-тревожным, крылатым, таким, что чувствуется только перед боем, повеяло на нас от его слов.

- А оружие сильных - правда! - не дав нам опомниться, снова заговорил Дмитро. И добавил совсем тихо, будто извиняясь перед нами, будто просил не ставить ему в вину невольного проступка: - Ребята... товарищи, я написал правду. Иначе я, честное слово, не мог...

Что мы могли ответить ему? Успокаивать? Подбадривать после этих его слов или укорять? Ни в том, ни в другом он, сильный своей верой, своим искусством и ясностью духа, не нуждался... А больше - что же мы могли?!

И если правду говорят, что талант обязательно требует публичного признания, похвалы или даже славы, как корабль моря, то Дзюба, будто почувствовав своим простым сердцем то единственное, с чем теперь только и можно было обратиться к Дмитру, сказал:

- А руки у тебя, сынок, просто чудо! Золотые, можно сказать, руки!

И Дмитро улыбнулся на эту похвалу, восприняв ее, наверное, не без удовольствия и вырвав из нашей груди сдержанный, горький вздох.

Позже мы советовались между собой, кое-кто даже высказывал мысль: а не уничтожить ли, мол, эту картину, как-то так, будто ненароком, пока не возвратился Пашке?

Но сразу и отвергли ее. Кто знает, что взбредет в голову рассвирепевшему унтеру! Еще кого-нибудь и пристрелит.

А Дмитру прикажет рисовать заново. И здесь уже никто не скажет заранее, как отнесется к этому и как поведет себя Дмитро. Да и, кроме того, и рука ни у кого из нас не поднялась бы...

Оставалась лишь одна сомнительная и непрочная, как утренний летний туман, надежда на унтерову тупость, на то, что Пашке, может, и в самом деле не все поймет.

А если картина ему и не понравится, то, может, воспримет все это за промах, неопытность художника - "самоучки" - и, как и пообещал, на первый раз наказывать не будет?

10

И не наказал. Все же сдержал свое унтерское слово и не наказал. По крайней мере собственноручно.

Хотя и понял сразу же, что не с самоучкой имеет дело, что вышло что-то не так, как он думал и надеялся. Понял с первого же взгляда, сразу же по возвращении в лагерь.

Неизвестно, правда, как он там воспринимал - глубоко или неглубоко, но то, что стоило только сделать одно неосторожное движение - и он станет посмешищем всех своих подчиненных, это Пашке осознал молниеносно.

Собственноручно снял он с дикта картину, свернул ее в трубочку и, не проронив ни слова, ушел к себе. Уходя, чувствовал, бесспорно, на спине испытующие и недоуменные взгляды нескольких подчиненных эсэсовцев, которые намеренно подошли ближе к коровнику, надеясь на торжественную церемонию приема картины. Но потом стали догадываться, что произошло тут что-то более серьезное, нежели обычная "унтер-курфюрстерская" церемония.

Нюхом учуяли, что с картиной что-то не то, что хромой туземец нарисовал комендантскую семью, по меньшей мере

ничего не приукрасив, и что вместо писаной красавицы фрау Эльзы, которой так хвастался Пашке, на картине, как это и должно быть, красовалась просто упитанная торговка с моложавым, но тупым и даже дегенеративным лицом.

Чтобы не выдать того, что они обо всем догадались, не ставить своего шефа в неудобное положение, эсэсовцы потихоньку разошлись, сдерживая иронические ухмылки.

Они были отомщены и испытывали от этого удовольствие.

Увеличенный групповой портрет гауптшарфюрерской семьи в бронзовую раму под стекло не попал. Но ни своих чувств, ни своего отношения к этому Пашке так и не проявил. Он не только не наказал за глумление над арийской семьей, даже словом пригрозить Дмитру не решился. И в этой трудной ситуации у него все же достало ума ни одним словом, даже жестом не выказать того, что его сильно задело. Ведь о картине знали, за тем, как она рисовалась, следили, и коменданту завидовали почти все подчиненные. И Пашке понимал, что, открыто наказав художника, он тем самым публично признает его правоту.

Не наказал, ибо не хотел признаться даже самому себе, что какой-то там туземец может оскорбить целую арийскую семью и высмеять мундир и особу неприкосновенного эсэсовца. Нет, на это пойти он не мог! Лучше было, затаив обиду, сделав вид, что ничего особенного не произошло, отомстить, как говорится, обычным путем, даже не вспоминая этой картины. Так, будто ее и не было.

Так, будто его и не было, "обычным", "естественным"

в концлагере путем должен был исчезнуть и Дмитро...

Хотя Пашке даже не намекнул об этом своим подчиненным. Он только приказал отобрать у Дмитра (и вполне естественно!) остатки настоящих немецких карандашей, поскольку работа уже выполнена и всех теперь надо выгонять на строительство дороги. Да еще утром, когда нас вывели из лагеря, приказал унтершарфюреру Курту Каммлеру произвести в "салоне смерти" обыск, чтобы выявить запрещенные предметы, в том числе и предметы для рисования. Хорт, как мы его называли, взял двух хортистов и одного пса и, учинив тщательный обыск, но так и не найдя спрятанной тетради и собственных карандашей Дмитра, обнаружил на плите и конфисковал бутылочку с остатками чернил.

И только... Однако этого "только" вполне хватило для того, чтобы вся эсэсовская свора поняла, что незримое "табу" с Дмитра снято и он снова стал беззащитным, обреченным пленным.

Первым сразу понял это огненно-рыжий ефрейтор Цункер. Еще в тот же день, пригнав пленных в карьер, он сразу

заподозрил обессиленного Дмитра в одном ему - Цункеру - понятном "саботаже". Люто сверкая глазами, подкрался из-за спины, с размаху, смакуя, неожиданно ударит Дмитра по голове втрое сплетенным кабелем и пронзительно заверещал:

- Ты еще меня запомнишь, смердячий саботажник!

Я выбью из тебя проклятый большевистский дух!

Парень даже присел от неожиданности, но на ногах удержался. Еще не поняв, что и к чему, оглянулся, а из рассеченной брови на щеку у него медленно скатилась густая рубиновая капля.

От одного вида крови в зеленоватых зенках Цункера бешеные искры вспыхнули еще сильнее. Да ведь и кровь эта была не просто одного из пленных, нет! Перед ефрейтором, безоружный и беззащитный, стоял именно тот "грязный художник", который осмелился уклониться от выполнения приказа и даже пренебречь просьбой эсэсонца, так и "не обнажив" ефрейторской невесты...

Вот почему зацепка и первопричина - саботаж - больше и не вспоминалась. Осатанелый Цункер открыто, ничего не скрывая, вымещал свою злобу и истязал парня до тех пор, пока тот, совсем уже окровавленный и потерявший сознание, не упал на спорыш.

Рыжий ефрейтор, начав первым, подал сигнал. А уже за ним со злорадством и садизмом набросилась на художника и начала истязать беззащитного и вся эсэсовская свора.

Травля Дмитра вскоре превратилась в спорт. Она приносила садистам истинное наслаждение. Им доставляло удовольствие и то, что комендант, этот высокомерный хвастун, как-никак, а все-таки попал в смешное положение, и то, что теперь можно было поглумиться и над художником, который осмелился пренебречь волей и желанием настоящих арийцев. Наконец, может, только подсознательно, их радовало и то, что вот они - солдаты, ефрейторы, унтеры, и не больше - имеют силу и власть, чтобы вершить судьбу настоящего художника. Могут беспрепятственно и сколько угодно проявлять над ним свое превосходство, вымещать свое недовольство тем, что он смеет знать, умеет чувствовать то, чего не знали, не умели и не чувствовали они. Инстинктивно ощущали потребность самым диким способом доказывать свое превосходство еще и по другой причине. Поняв далеко не все в той картине, которую рисовал Дмитро, думая, что художник поглумился только над комендантом и его "красавицей", они все же чувствовали, что это было издевательство и над ними всеми.

Слово "художник" стало теперь для них презрительным и бранным словом.

"А подгони-ка эту свинью художника!"

"Почему это не видно того художника?"

"А ты случайно не разрисовал бы спину художника?"

С Дмнтра на протяжении целого дня не спускали глаз, ставили на самую тяжелую, непосильную для одного человека работу. С садистской придирчивостью, тумаками, издевкой выбивали из него дневную норму. Его пинали и били и просто так, от безделья. Утром за то, что будто он опаздывает к построению, или же за то, чго торопится впереди всех. Потом били за то, чтобы не отставал на марше или не высовывался вперед. Когда же мы, прилагая неимоверные усилия, чтобы защитить, оборонить и спасти, брали его в середину колонны и закрывали своими телами, его снова били за то, что он, мол, умышленно прячется от "справедливого наказания".

Били его на дороге, били, когда возвращался в лагерь, били во время раздачи баланды и особенно когда подозревали, что он пытается что-то рисовать.

Кроме первого случая, когда бешеный Цункер избил его до потери сознания, били с расчетом, смакуя, квалифицированно, чтобы не убить сразу или не сбить с ног так, чтобы он уже не мог подняться.

Делали все, чтобы как можно дольше длились издевательства, чтобы человек как можно глубже ощущал свою медленную смерть.

Сам Пашке, так сказать, собственноручного участия в этих истязаниях не принимал.

Он вел себя так, будто и забыл уже совсем о существовании какого-то там художника, и "не замечал" ни его самого, ни того, что делают с Дмитром его подчиненные.

Хотя, разумеется, все это видел очень хорошо и не только одобрял, но и незаметно направлял. Да и сам отомстил Дмитру не побоями, но еще более чувствительно и жестоко. Ибо не кто иной, а именно он, Пашке, приказал не принимать недельных передач для Дмитра ни от Яринки, ни от кого бы то ни было другого. А это лишало парня не столько физической (потому что Яринка отдавала передачу для Дзюбы), сколько большой моральной поддержки, одновременно усложняя нашу связь с окружающим миром и задерживая надолго, если не навсегда, дело подготовки к побегу из концлагеря.

Тоже, наверное, не кто иной, как только Пашке, приказывал со всей строгостью следить за тем, чтобы Дмитро ничего, совсем ничего и никаким образом не рисовал.

Именно по его приказу производились систематические обыски, которые держали всех нас в постоянном лихорадочном напряжении.

Для Дмитра это было самым мучительным из всего того, что

только можно было придумать. Потому что не рисовать, как мы уже твердо убедились, он не мог. Должен был рисовать по какой-то внутренней, жгучей потребности творить, в каком бы тяжелом положении ни находился. Такое уж было у него сердце и такие горячие руки. Руки, которые перестанут творить только тогда, когда навеки застынут.

Разгорелось страшное, смертельное состязание.

Дмитро так, будто в нем пылал какой-то неугасимый, ненасытный огонь, со сверхчеловеческим упорством рисовал, а немцы с бесчеловечной, садистской жестокостью преследовали и наказывали. И чем яростнее наказывали, тем все более упорным, несгибаемым становился Дмитро.

А чем упорнее становился парень, тем все больше бесила эсэсовский сброд его непокорность.

Раньше наш "салон смерти" был спокойным местом, куда охранники заглядывали лишь изредка, да и то весьма неохотно. Теперь мы этот относительный покой потеряли окончательно. Неожиданные частые наскоки и обыски посыпались на нас как снег на голову. Каждая спокойная минута теперь ценилась на вес золота. Вернее, на вес жизни. И если только выпадала такая минута, Дмитро всем своим существом тянулся к спрятанной тетради и карандашу. Он, словно в каком-то предчувствии, торопился воплотить все, что видел вокруг себя, все, что мы переживали, все, чем и как жили.

Мы организовали целую систему охраны, пикетов и сигналов, привлекли к этому и новых товарищей, с тем чтобы каждый раз своевременно предупреждать Дмитра об опасности. Мы уже, так же как и он, больше, чем собственную жизнь, ценили эту тетрадь с остротрагическими зарисовками, с портретно точным воспроизведением наших товарищей, наших палачей и наших неслыханных обстоятельств. Эта тетрадь была уже документальным дневником нашей жизни, только написанным не словами, а поражающими, чрезвычайно лаконичными и островыразительными рисунками. Мы охраняли ее так старательно, что художник, как только ему удавалось взять в руки карандаш, предупреждался не только о каждом шаге, но, кажется, и о каждом намерении эсэсовцев.

Разработали мы также и совершенную систему хранения тетради и карандашей. Самая изобретательная эсэсовская проницательность оказалась бессильной перед этой системой, она так и не обнаружила дорогих нам вещей.

Однако рисовать, да еще более или менее спокойно, Дмитро почти не мог. Эсэсовцы, как надоедливые голодные псы, так и сновали вокруг нас. Каждый раз, как только парень

пристраивался что-нибудь написать, его преследователи, словно учуяв это, сразу же появлялись на горизонте. Они забегали в "салон" утром и вечером, через пять минут после того, когда мы возвращались с работы, и за десять минут перед тем, как должны были выйти на работу. Иногда врывались целой толпой среди ночи. Порой - только подозрительно принюхивались, иной раз метались по коровнику с собаками. А бывало - заставляли полицаев и хортистов обыскивать каждого из нас с ног до головы.

Разумеется, они ничего не находили, но удовлетворить жажду творчества Дмитру не давали, достигая в какойто мере этим своей цели. Дмитра это ужасно мучило.

Эсэсовцев и наказания он не боялся. Но остерегался - не хотел рисковать тетрадями и карандашами. Поэтому, когда уже не было другой возможности, рисовал открыто, на глазах у охраны, где придется и чем придется. Рисовал на двери углем, на стенах царапал заостренными щепочками, чертил палкой на влажной, утоптанной до блеска стежке у дороги. Из-под его руки тогда выходили исключительно эсэсовцы - острые, едкие, портретно схожие шаржи и карикатуры... Его били, над ним издевались, а он писал каждый раз, как только выпадал удобный случай и свободная минута. Рисовал, отвечая каждый раз на удар.

Мы уже не могли ни отговорить, ни предостеречь его.

Это уже было сильнее нас, нашей осмотрительности, трезвости и рассудительности.

Война эта была подобна какой-то безумной игре, в которой ставкой была жизнь, а страстью - нестерпиможгучая ненависть.

Но война эта была неравная.

Дмитра просто убивали. Медленно, неторопливо и методично. Парень день ото дня таял на глазах. Все наши самые отчаянные усилия как-то помочь и хоть немного облегчить его муки не достигали своей цели. Если кто-нибудь из нас подставлял под удар себя, чтобы прикрыть Дмитра, его били. Но, ударив или избив, снова возвращались к Дмитру, не отвлекаясь и не забывая о нем.

Дмитро за несколько дней весь как-то высох и стал похожим на мальчика-подростка. Он исхудал, осунулся, кожа на лице сделалась желтой и будто даже просвечивала, обтягивая резко выдающиеся теперь скулы. Нос заострился, губы запеклись, а глаза на измученном лине округлились и потускнели.

С жалостью и болью, со страшной ясностью видели мы, что конец здесь будет только один. И что, по-видимому, конец этот близок. Дмитро долго так не протянет.

А спасти его тут, в концлагере, уже не сможет ничто и никто.

Спасти парня мог бы только побег.

Да не так-то просто складывалось с этим побегом.

Яринка подала было весть, чтобы ждали в ближайшее время сигнала. Но сигнала этого мы так и не дождались.

"Свяжемся через полицая", - подбросила она нам записку еще через несколько дней.

И вот какое-то время мы с надеждой присматривались к каждому полицаю: не "он" ли, не "наш" ли? Присматривались, напрасно стараясь разглядеть в тупых, озверелых рожах хоть намек на что-то человеческое, по чему можно было бы понять, что это не изменник, а свой человек. Но... рожи садистов так и оставались рожами садистов. И ни на одной из них не было и не могло быть ни намека, ни проблеска...

А тем временем как-то на рассвете в нашем же овраге был расстрелян по всем правилам эсэсовского "искусства" человек в темно-синей форме полицая. Привели откуда-то, наверное, из тюрьмы, и расстреляли чуть ли не на наших глазах. Кто? За что? Почему?! Никто ничего не знал и ответить не мог. Расстрелян кто-то в форме полицая. И все, и конец... И кто может подтвердить, уверить, что это был не "наш" полицай? Что это был не тот самый комсомолец, которого "Молния" с такими трудностями устраивала в полицию?

Такое подозрение в какой-то мере подтверждалось и новой записочкой от Яринки. Девушка сообщала, что не будет показываться и не сможет подать о себе вести до следующей пятницы, - целых пять дней! Стечение обстоятельств? Нет, пожалуй, если и стечение, то не случайное. Видимо, там что-то произошло. Что-то такое, что снова отдаляет спасение наше и, что самое худшее, Дмптра.

Дмитро становится все слабее и слабее. Он тает с каждым днем. Он уже даже редко разговаривает с нами.

Все больше сосредоточенно молчит. И все же рисует. Рисует, используя каждую удобную, такую скупую и такую драгоценную минуту. Словно чувствуя свою смерть и то, что надо до этого времени успеть сделать как можно больше...

Только ночью, когда уже укладываемся спать, слышим его неразборчивый, лихорадочный шепот. Это Дмитро, жизнь которого уже держалась на тоненькой ниточке, нашептывает что-то успокаивающее, что-то подбадривающее умирающему Сашку. С каждым часом, чем хуже становится Сашку и чем невыносимее Дмитру, - тем крепче их близость. Дмитро с такой душевной настойчивостью отстаивает каждый миг Сашковой жизни, с такой любовью поддерживает его угасающий дух, что, кажется, от Сашка зависит и жизнь Дмитра.

Порой, когда все стихнет в ночной темноте, напрягая слух,

можно было в шепоте Дмитра различить и отдельные слова. Это были слова надежды, какой-то ясной уверенности. Не было в них ничего такого, чем жили мы теперь. В них был родной дом, синее небо, зеленые поля...

И от них у нас так болезненно, так тоскливо сжимались сердца. Знали ведь наверняка, что никогда уже не увидит юный Сашко ни родной Волги, ни зеленой колосистой степи, ни того синего, ласкового, мирного неба...

А Дмитро! Еще день, еще два, еще три... Если ничего не случится за это короткое время, мы уже не спасем и его. Его добьют, замучают, или же он сам упадет однажды на усеянную острыми камнями землю карьера и уже больше не поднимется.

Да, мы могли и мы должны были бы пойти на риск и организовать побег одному Дмнтру. Наконец, если бы встали все за одного... По дороге с работы или на работу.

В карьере или в самом лагере возможность такая не исключалась, и повод можно было бы найти. Устроить шум, свалку, кутерьму... Все отвлекают внимание, а он тем временем бежит. Бежит через подкоп под проволокой, бежит с дороги...

Но вот куда? И далеко ли он убежит, истощенный, обессиленный, с его искалеченной ногой? И чем ты тут поможешь, хоть и рискуешь многими головами?

Попытаться, конечно, можно. Но это будет попытка, в которой почти сто на сто за то, что мы толкнули бы товарища на неминуемую и немедленную гибель.

Так вот, как ни крути, а головой стену не прошибешь.

Оставалось только одно: ждать спасения от Яринки, ждать пятницы и спасительного сигнала.

Пятница пришла, однако ни изменений, ни облегчений не принесла. Потому что Яринка в эту пятницу не появилась и вести о себе не подала.

Не отозвалась она ни в субботу, ни в воскресенье.

А в понедельник умер наш Сашко. Когда уходили утром на работу, он попросил Дмитра принести с поля, с воли, хотя бы цветок одуванчика. А вечером, возвратившись с карьера, мы застали его уже мертвым.

Мы видели, что Дмнтро тяжело переживал исчезновение Яринки. Но виду не показывал, почти не говорил об этом, крепился. А смерть Сашка, неминуемая и предвиденная, на наших глазах просто ошеломила парня.

Дмитро стиснул зубы и замкнулся в себе, даже на вопросы не отвечал. Что-то словно оборвала в парне эта смерть, убила в нем что-то такое, без чего человек жить ке может. На лице Дмнтра появилось даже какое-то несвойственное ему выражение

обреченности, которое говорило, что человек уже не дорожит своей жизнью и перестал думать о ней.

Но сказать, что он просто не дорожил жизнью, - значит ничего еще о Дмитре не сказать. Нет, его не сломили.

Он только не замечал уже самого себя, ибо в нем, как прежде в нас, умерла вера в собственное спасение.

В его глазах еще блестел холодный огонь. Но это уже был не огонь жизни, а стальной отблеск холодной ненависти и жажды мести. Казалось, в нем отмер, исчез и забылся даже намек на естественный инстинкт самосохранения. За холодным блеском глаз этого мягкого юноши теперь стояло что-то отчаянное и страшное. Он не только не боялся, не только не избегал, а даже искал встречи со смертью. И это сразу заметили не только мы, но и наши враги.

Фашистов, казалось, раздражало, даже пугало ледяное безразличие Дмитра к их издевательствам и пыткам.

Они удвоили свои преследования и истязания, но художник уже как будто утратил самое ощущение физической боли.

Нас тоже пугало и тревожило это целенаправленное упорство, с которым Дмитро шел навстречу смерти, и мы утроили свою бдительность. Теперь уже ему вовсе не давали ни рисовать, ни вообще покоя. Оторванный от того, чем жил, затравленный, он лез прямо на рожон. Однажды в карьере мы едва успели окружить его и вовремя вырвать из ослабевших рук железную кирку, которую он собирался вогнать в голову рыжему Цункеру, в другой раз пришлось отобрать острый обломок гранита, который он спрятал за пазухой, готовя его, как видно, для самого Пашке.

Но вот, к сожалению, ни гитлеровцам истязать, ни нам отбирать у Дмитра неопасные в его ослабевших руках орудия смерти было уже совсем нетрудно. Парень таял прямо на глазах, он уже совсем ослабел, силы окончательно покидали его. Последние несколько дней он еще кое-как передвигал ноги. С работы мы уже почти волокли его, а то и просто несли, взяв под руки.

Наконец, наступил и этот роковой вечер.

Не дойдя до порога коровника, Дмитро пошатнулся, цепляясь руками за стену, упал на землю и подняться сам уже не мог.

Когда его перенесли в "салон смерти", парень впервые с того времени, как умер Сашко, заговорил с нами.

- Больше я уже не поднимусь, - немного запинаясь, отдыхая после каждых двух-трех слов, тихо сказал он. - Пусть себе как хотят... сохраните тетра-ди и... передайте... лучше всего передайте Яринке... А если что... Да в-вы и сами все... знаете...

Мы утешали себя тем, что случилось это уже в лагере, что

пришлось упасть ему не на дороге, не на глазах у эсэсовцев, и что впереди еще целая долгая ночь и надежда на отдых.

Но, к сожалению, ранним утром придут эсэсовцы.

А Дмитро поступит так, как сказал. Он даже не попытается подняться. И они будут "поднимать" его палками, вытащат во двор или добьют на месте...

Еще одна, не первая, а уже кто знает какая, невыносимо долгая и вместе с тем молниеносно короткая, гнетущая ночь. Не первая и наверное же не последняя ночь, течение которой остановить мы не можем, точно так же, как не можем остановить того, что принесет страшный рассвет... А так хотелось иметь хоть какую-то надежду!

И мы все-таки надеялись, хотя и знали, хорошо знали, что надеяться не на что и спасения ждать теперь не о г кого.

Утром забили в железный рельс, подняли галдеж охранники. Защелкали нагайки, и громко залаяли овчарки.

Пришли эсэсовцы, выстроили нас вдоль ограды коровника и продержали так около часа. Затем появился в сопровождении пса и неизменного переводчика сам Пашке. А Дмитро так и не поднялся, он лежал в "салоне" на истертой в труху соломе. Пашке появился неспроста. Он хочет собственной персоной засвидетельствовать или, вернее, утвердить смерть непокорного художника. Значит, и смерть Дмитру уготована не такая, как всем, если уж за это берется сам Пашке...

Пашке обвел нас всех долгим, неторопливым взглядом, закурил сигаретку, щелкнул себя резиновой палкой по блестящему голенищу и что-то буркнул, кивнув переводчику.

- Комендант лагеря, гауптшарфюрер войск СС господин Иоганн Рудольф Пашке приказывает... - Переводчик сделал паузу, передохнул и, повысив голос, закончил: - Военнопленному номер восемьдесят семь на работу не выходить. Военнопленному номер восемьдесят семь выйти из колонны и остаться в лагере!

Военнопленный номер восемьдесят семь из колонны не вышел. Военнопленный номер восемьдесят семь лежал в "салоне смерти"... Это был Дмитро, это его номер.

Отсутствие номера восемьдесят седьмого в колонне Пашке явно не встревожило. Пашке, как видно, все знал.

Почему же не "поднимал", как всех других, не убивал сразу? Что еще мог придумать Пашке?

Зачем Дмитра оставили в лагере?!

11

Зачем Дмитра оставили в лагере, мы узнали не скоро.

Не знал ничего об этом и сам Дмитро.

Никто его уже не трогал, не бил, не ругал, никуда не гнал. И

никто ничего не говорил. Пленного номер восемьдесят семь оставили в покое, будто все забыли даже о его существовании.

В первый день мы еще ждали чего-то особенно коварного. Пытался поначалу угадать свое будущее и сам Дмитро. Но скоро выбросил все это из головы и просто отлеживался, отдыхая ночью на истертой соломе "салона смерти", а днем, когда пригревало апрельское солнце, сидя на потеплевшей, утоптанной нашими ногами земле, под стеной коровника.

Наши палачи теперь его совсем не замечали. Он почему-то их уже не интересовал и не раздражал. Хотя сказать - не замечали - не совсем точно. Можно сказать, что о нем начали даже беспокоиться. Три раза в день выдавали ему увеличенную порцию баланды и каких-то эрзац-концентратов. А как-то навестил его даже немецкий санитар из конвойной команды. Он слегка пнул парня носком ботинка под бок, потом опасливо оглянулся по сторонам и, словно извиняясь, сунул ему за пазуху целую пачку сигарет. Бормоча что-то себе под нос, называя кого-то там свиньями и животными, санитар пощупал у Дмитра живот и заглянул в рот.

Выходило так, что кого-то интересовало даже здоровье Дмитра!

Мы хоть и радовались неожиданной передышке, но все время были настороже... Дмитро относился ко всему этому с холодным безразличием. Но все же неожиданный отдых, весеннее тепло, кое-какая еда и молодой организм взяли свое. На третий день этого отдыха Дмитро снова потянулся к своим карандашам и тетради. Парень уже поднимался и прогуливался под стеной коровника, всей грудью вдыхая ароматы просыпающейся земли, которые неслись из-за реки мощными волнами на лагерь.

В тот же день ему, кроме баланды, дали еще миску настоящей картофельной немецкой "зупы", заправленной маргарином, и кусочек черного непропеченного солдатского хлеба. Разрешили снова принимать передачи, хотя носить их, собственно, было некому. Ярпнка почему-то больше так и не появлялась возле лагеря.

Двадцать пятого апреля (мы навсегда запомнили этот день), в семь часов вечера, как раз тогда, когда нас пригнали из карьера, Дмитра вызвал к себе сам гауптшарфюрср Пашке.

Этому вызову, как мы узнали уже значительно позже, предшествовали определенные значительные события.

В мире кипела самая страшная из всех войн, которые когда-либо знало человечество. И уже перед всем миром абсолютно ясно определилось то, что гитлеровский блицкриг провалился окончательно и бесповоротно. К весне сорок второго года дело

шло уже не о блицкриге, а хотя бы о каком-то частичном продолжении наступления. Стало понятным, что настоящая война, в сущности говоря, только теперь завязывается, что конца ей еще не видно, и, судя по тем потерям, которыми Гитлер платил за свое временное продвижение на восток, немецкий солдат понемногу стал задумываться над тем, чем и как закончится война и кому же, в конце концов, может угрожать пусть и не молниеносный, а все же бесславный конец.

Зимний разгром гитлеровцев под Москвой, ожесточенные бон в Белоруссии, на Украине и в районе Ростова нанесли ощутимый удар немецкой экономике, "немецкому духу" и уничтожили веру в непобедимость немецкой армии.

Гитлер с маниакальным упрямством лихорадочно готовил новое наступление на Кавказ и Волгу, что требовало окончательной ликвидации наших крымских группировок и взятия Севастопольской крепости, которая возвышалась по существу уже в тылу гитлеровских армий.

Надо было наступать любой ценой. А колоссальные потери осенне-зимней кампании уже тогда остро ощущались: давала о себе знать нехватка резервов, свежих пополнений для армии и рабочих рук для промышленности.

Гитлер выходил из себя, вылавливая для пополнения потерь в армии буквально все живое в стране, а тем временем в концлагерях, дорожных отделах и различных тыловых военизированных организациях на тепленьких местах сидели здоровые, откормленные и выхоленные на легких европейских блицкригах различные эсэсовские гауптшарфюреры и просто рядовые "фюреры".

Мог ли в таком сложном положении не обратить внимания на это самый главный фюрер?

И мог ли не учесть этого и не позаботиться о своей шкуре верный слуга самого главного фюрера гауптшарфюрер Пашке? Не мог... Потому что сама жизнь подсказывала, требовала каких-то мер для сохранения собственной драгоценной арийской шкуры. Ведь мало того, что фюреру крайне необходимо было сейчас свежее пушечное мясо вообще, это касалось теперь непосредственно и персонально его, преданного своему фюреру до последней капли крови, Иоганна Рудольфа Пашке...

Кто-то из верноподданных самого Пашке, кто-то из ближайшего его окружения начал настырно подкапываться под гауптшарфюрера. В различные инстанции стали поступать анонимные письма, или, проще говоря, доносы, о том, что гауптшарфюрер Пашке вконец разленился, проворовался, забыл присягу, бога и своего фюрера и так уже распустился и обнаглел,

что, связавшись с какими-то сомнительными туземными элементами, приказывает рисовать с себя портреты. Словно он не обычный слуга боготворимого фюрера, а бог знает какая персона! Уже раза два за последнее время деятельностью Пашке с какой-то подозрительной загадочностью интересовался сам гебитс-комиссар, намекая на какие-то "гуманистические" выходки коменданта и какие-то его "художества".

Напуганный Пашке бросился к другу и соседу, начальнику районного жандармского поста Гессе. И тот по-дружески рассказал ему об этих анонимных письмах.

Неизвестный аноним писал чуть ли не ежедневно в инстанции, намекая, что за различными "художествами", которые завелись в лагере, скрываются какие-то коммунистические козни. Гессе сказал также, что кое-что из этих анонимок будто стало известным уже и самому бригаденфюреру войск СС Брумбаху.

Одним словом, для Иоганна Рудольфа Пашке запахло фронтом.

А на фронт преданный своему фюреру до последней капли крови Пашке идти не хотел. Считал, что его кровь может послужить фюреру с такой же безграничной преданностью и в тылу.

А опасность все приближалась и приближалась.

И наконец нависла вполне реальной угрозой над самой головой гауптшарфюрера. До него дошли абсолютно верные сведения, что "сам" бригаденфюрер войск СС Брумбах, уполномоченный самого фюрера, разъезжает по восточным территориям и переворачивает ближние и глубокие тылы вверх дном, высвобождая для великой Германии и фюрера свежие резервы. Он уже совсем близко.

Брумбах приближается, он уже разъезжает в своей бронированной танкетке по той магистрали, на которой размещен концлагерь. По той самой магистрали, на которой работают его - Пашке - пленные.

Он, Брумбах, лютый, как тигр, и жалит, как оса. Не случалось, говорят, на его пути еще ни одного коменданта, ни одного крайсландвирта или начальника жандармского поста, которому бы встреча с бригаденфюрером прошла безнаказанно. Одни ему не угодили тем, что мало умертвили за зиму пленных, другие, наоборот, тем, что много уничтожили рабочей силы без надлежащей пользы для фюрера и великой Германии. Если в каком-то районе обнаруживались признаки подпольной или партизанской деятельности, генерал хаял подчиненных за то, что допустили до такого. Если же подобных явлений не замечалось, бранил за то, что партизан или подпольщиков не сумели выявить.

Больше всего доставалось всем за неудовлетворительное, крайне плохое строительство дороги-военной магистрали, которую немцы гордо называли "Р - К", то есть "Петербург - Крым".

Это была одна из важнейших артерий коммуникаций и снабжения армий, которые нацеливались на Ссвастополь и Волгу. И доходили слухи, что Брумбах собственноручно расстрелял уже двух начальников участков организации "Тодт" за развал дорожного строительства. А уж сколько погнал с постов на передовую комендантов, крайсландвиртов, жандармов - просто ужас!

Для Пашке неутешительными были не только эти слухи, но и сами дела, от которых могла зависеть его судьба.

Работа на строительстве дороги подвигалась крайне неудовлетворительно. Колхозники из окрестных сел, несмотря на самые крутые меры, работу на дороге саботировали.

Пленные работали по старому правилу: что убьешь - то и найдешь. Почти за весь апрель удалось только расчистить место для карьера да исправить несколько мостиков.

А на самой магистрали еще не замощено ни одного свежего метра дороги. Да к тому же еще и эти разговоры о его, Пашке, "художествах"!

Одним словом, можно было ожидать не только фронта, но и чего-то более страшного.

А Иоганн Рудольф Пашке совсем не хотел идти на фронт. Ему хорошо было служить своему фюреру и здесь, в концлагере. И он, извиваясь вьюном, цеплялся за каждый повод, за любую зацепку, лишь бы только спастись или хотя бы отдалить на неопределенное время эту перспективу.

Желая сразу замести следы своих "художеств", он чуть было не отдал приказ немедленно пристрелить Дмитра. Но спохватился и, помозговав ночь, решил, что, учитывая слухи или доносы о "художествах", лучше выбить клин клином. Может, именно и надо спасаться тем, от чего заболел?

По-своему, по-эсэсовски, Пашке, бесспорно, был незаурядным психологом. Чувствовал и знал, что спасти его может только что-то совершенно неожиданное, какое-то "чудо"! На строительстве дороги, до того неопределенного часа, когда его внезапно застигнет Брумбах, такого чуда, разумеется, не произойдет. Значит, нечего его и ждать там. Чем же тогда еще можно удивить бригаденфюрера, которого, кажется, вообще ничем удивить нельзя? Брумбаха можно только ошеломить или напугать.

Ошеломить же или напугать генерала можно только одним-перспективой потери доверия у фюрера и...

Вот почему гауптшарфюрср Иоганн Рудольф Пашке

решительно отбросил мысль о расстреле Дмитра. Он оставил парня в лагере и приказал поддержать, подкормить, подлечить его. И никому даже пальцем к нему не прикасаться. А сам тем временем отбыл на весьма серьезное совещание со своими ближайшими друзьями - крайслаидвиртом и жандармским начальством, которым точно так же угрожала опасность.

На этом совещании были окончательно намечены меры против нежелательного, но вместе с тем неизбежного визита бригаденфюрера СС Брумбаха и выработан детальный план спасения собственных арийско-эсэсовских голов.

Идею плана предложил Иоганн Рудольф Пашке.

План этот - план спасения эсэсовцев - целиком и полностью зависел от воли и желаний советского художника-комсомольца, пленного красноармейца Дмитра...

Хотя, как известно, воля пленного в гитлеровском концлагере существенного значения и не имела...

Мы тогда ничего об этом, разумеется, не знали.

12

Ничего не знал и даже не догадывался об этом и Дмитро, когда его двадцать пятого апреля приказал привести к себе гауптшарфюрер Пашке.

Истощенный, такой худой, что казалось, просвечивался, но внутренне собранный, решительный, готовый ко всему, хладнокровный, равнодушный к смерти, стоял Дмитро на пороге комендантской "комиссионной" комнаты.

Напротив него, глубоко опустившись в старинное кресло и широко расставив ноги, сидел Пашке.

С обеих сторон Дмитра почетной стражей стояли два эсэсовца с автоматами.

Пашке, как и всегда, охраняли долговязый переводчик и пес, который лежал, положив голову на лапы.

Дмитро молчал, безразлично и устало глядя на коменданта.

Пашке говорил, иногда помогая своим словам жестами и похлопыванием резиновой дубинки по блестящему голенищу.

Конвоиры Дмитра внимательно слушали своего коменданта с подчеркнутой учтивостью.

Переводчик повторял с неизменным дополнением слова своего шарфюрера, пес вилял хвостом, а иногда, в самых патетических местах речи коменданта, слегка повизгивал.

Пашке говорил вдохновенно, с подъемом, он рисовал картину со всем жаром самой буйной эсэсовской фантазии.

- Хайль Гитлер! Гауптшарфюрер войск СС, комендант лагеря господин Иоганн Рудольф Пашке приказывает сообщить тебе, что он еще раз хочет спасти тебя, ничтожного и неблагодарного, от

смерти. Господин гауптшарфюрер приказывает сообщить тебе, что он, из особенного расположения к твоим способностям, решает поручить тебе чрезвычайно важную работу. И хотя ты недостоин этого, но господин Иоганн Рудольф Пашке приказывает тебе нарисовать портрет боготворимого фюрера великой Германии, портрет величайшего человека всех веков и всех народов. Ты должен радоваться и вечно быть благодарным господину коменданту за такую большую честь и доверие...

Переводчик остановился, возможно, ожидая от Дмитра если не благодарности, то по крайней мере какой-то реакции на услышанное... Но Дмитро стоял, как и до того, неподвижно, с лицом непроницаемым, словно окаменелым.

Переводчик, ничего не дождавшись, продолжал говорить дальше:

- Гауптшарфюрер войск СС, комендант лагеря господин Иоганн Рудольф Пашке приказывает тебе написать великого фюрера во весь рост и на резвом белом ;коне. Фюрер будто выехал на заснеженное поле боя. Все вокруг усеяно разбитой техникой и трупами вражеских солдат. Позади фюрера выстроились непобедимые войска великой Германии. Впереди, в долине, прямо под копытами коня фюрера, шпили пылающей, побежденной Москвы... А фюрер, глядя поверх этих шпилей, правой рукой указывает своим воинам на новые пространства, которые они должны завоевать для великой Германии.

Господин комендант создаст тебе для этой большой работы все необходимые условия. Господни гаупгшарфюрер уже послал в Умань человека с приказом разыскать масляные краски, полотно и все прочее. Господин Иоганн Рудольф Пашке не спрашивает тебя, будешь ли ты или не будешь рисовать, он только спрашивает: что еще необходимо тебе для того, чтобы ты быстро и как можно лучше исполнил эту почетную работу?

- Передай коменданту, - даже не дослушав, пока толмач переведет последние слова, спокойно ответил Дмитро, - передай ему, что он может не беспокоиться.

- То есть как? - не понял переводчик.

- Ну, что мне ничего этого не нужно.

Дмитро не знал и не догадывался, зачем коменданту потребовался этот портрет. Он и додуматься не мог, что портрет "великого фюрера", если он только будет написан на большом, многометровом полотне, - ибо величие картины Пашке оценивал по величине полотна, - всегда будет стоять наготове в комнате коменданта. В это время за селом на дороге в обоих направлениях днем и ночью будут дежурить и заблаговременно поднимут тревогу полицаи и эсэсовцы. И как только покажется на дороге

генеральский броневичок и тут же об этом сообщат в местечко по заранее разработанной беззвучной сигнализации, тогда на улице возле лагеря соберутся все военнослужащие концлагеря, ортскомендатуры "Тодта" и жандармерии. А Пашке, начальник жандармского поста Гессе и крайсландвирт Веббер вынесут навстречу бригаденфюреру (который тоже появится в сопровождении немалой свиты) поразительно большой и необычный (на белом коне!) портрет боготворимого фюрера. И унтер Пашке, преподнося эсэсовскому генералу портрет бесноватого ефрейтора, скажет сладеньким и покорным голосом:

- Господин бригаденфюрер, примите от нас, верных солдат фюрера, которые несут свою службу во имя третьего рейха здесь, на завоеванных территориях, этот подарок в знак нашей преданности и любви к нашему великому фюреру и родному фатерланду. Хайль Гитлер!

И ни слова больше.

Что же (Пашке уже заранее улыбался от удовольствия) тогда будет делать бригаденфюрер Брумбах? Злой, как тигр, и грозный бригаденфюрер? Ему останется только принять портрет фюрера и поблагодарить своих верных и преданных вояк. Ибо как же иначе? Не принять?

Портрет самого фюрера? Нет, это исключается категорически. Принять! Только принять и поблагодарить. Ну, а приняв и поблагодарив, что он должен делать дальше?

Расстреливать? Гнать на фронт, как штрафников, солдат, которые ему преподнесли портрет фюрера? А что, если это, пусть даже спустя некоторое время, дойдет до самого фюрера? Ведь бригаденфюрер имеет немалую свиту, помощников, заместителей. И кто может дать бригаденфюреру гарантию, что в один прекрасный день фюрер не спросит неожиданно: "Брумбах? Это тот бригаденфюрер, который когда-то уничтожал моих верных людей? Людей, которые преподнесли ему мой портрет?" Нет, бригаденфюрер Брумбах не такой уж дурень! Он сразу поймет, что попался, сделает вид, что растрогался, поблагодарит, потом для порядка наорет, попугает, покривится и уедет с тем, с чем и приехал. А все они (и он, Пашке, прежде всего) останутся на месте. И драгоценная жизнь гауптшарфюрера до конца, до последней капли крови, отданная своему фюреру, сохранится. И кто знает... Может, еще когда-нибудь слух об этом патриотическом поступке, об этом портрете и дойдет до самого фюрера! И может, сам фюрер когда-нибудь вспомнит его, именно его, гауптшарфюрера Иоганна Рудольфа Пашке. И может...

Не знал, естественно, ничего не знал об этих далеко идущих мечтах молодой художник. Даже и не подозревал, что не только

должность, но и голова коменданта зависит теперь от Дмитра, от его воли.

- Ничего мне не надо. И никакого фюрера рисовать я не буду.

Сказал спокойно, тихо, ровным голосом, так, будто разговор шел о чем-то очень обычном между двумя равными по положению людьми, а не комендантом и его пленным. Пашке от этого ровного тона даже оторопел на какое-то мгновение. Ему и в голову не могло прийти, что туземец осмелится отказываться. И поэтому он какое-то время молча смотрел на Дмптра больше с удивлением, чем с раздражением.

- То есть как? - наконец пошевелил губами. - Не понимаю. Как это - не будешь?

- Просто. Не буду. Не справлюсь с таким "почетным" заданием, - как бы смягчил удар Дмитро. - Не сумею, понимаете, так написать. Да к тому же.... - Дмитро усмехнулся слабо, но многозначительно. - Правда, слишком много "чести" для меня.

Пашке наконец по этой улыбке понял все. Уже не ожидая, пока ему до конца переведут сказанное Дмитром, он рывком поднялся на ноги и, как кот, одним прыжком стал перед Дмитром. Так же, одним прыжком, очутились возле Дмитра пес и толмач.

Сдерживая ярость и возмущение, кипевшие в груди на какого-то там туземного художника, который осмелился на такой ответ, зная, что жизнь пленного зависит от одного слова коменданта, Пашке поднес железно сжатый кулак к самым глазам Дмитра:

- То есть? Как... как это не будешь?

Равнодушно глядя на этот кулак, сжатый так крепко, что даже пальцы у Пашке побелели, Дмитро снова тихо, но твердо и отчетливо повторил:

- Не буду.

И комендант спохватился, снова сдержал себя, опустил руку и даже криво усмехнулся.

- Бу-дешь! - сказал он притворно-спокойным голосом, но с нажимом. Бу-дешь... Не для того я позвал тебя, чтобы выяснить, хочешь ты рисовать или не хочешь.

Я позвал тебя только для того, чтобы предупредить: не думай, что я не понимаю тебя или не понял тогда!

Я вижу все и хочу сказать тебе одно: довольно. Если только что... только что не так... замучаю. Живым на огне сожгу. А теперь иди отдохни, обдумай все и готовься к работе.

- Не бу-ду, - еще тише и еще упорнее повторил Дмитро.

- Иди, - не обратил внимания на его слова Пашке. - Завтра начнешь работу.

Мы тоже не знали, еще не понимали, что кроется за

поступком Пашке. Однако ясно чувствовали, что стоит за этим что-то очень серьезное и страшное. И тем из нас, кто думал, будто то, что Дмитра оставили в лагере, это спасет ему жизнь, радоваться было еще очень и очень рано. Многое было неясно, а все же веяло на нас от этого приказа Пашке холодом смерти. Хотя мы и подумать тогда не могли, что парню придется выбирать между портретом ненавистного Гитлера и смертью.

Но выбора тут быть не могло. Не только для Дмитра, ко и для всех нас. Потому что есть в жизни человека, как и в жизни целого народа, такая межа, которую никак нельзя переступить, не потеряв своего достоинства, даже если на этой меже и грозила неминуемая смерть.

На то, чтобы писать портрет Гитлера, не мог пойти не только Дмитро. Никогда, ни при каких условиях не могли бы позволить ему сделать это и все мы.

- Нет! - выслушав рассказ Дмитра, спокойно, но решительно сказал Волоков.

- Никогда! - горячо подтвердил и Дзюба.

Одним словом, если бы Дмитро даже согласился, то мы бы ему запретили писать эту мерзость. Запретили, если б надо было, ценой нашей жизни. Пусть бы нас всех на месте, вот тут, расстреляли, лишь бы только он не рисовал. Да что там и говорить! Мы бы запретили ему даже ценой его жизни, потому, что здесь речь шла о чем-то гораздо большем, чем мы и он. Дело шло о таланте, за который мы вместе с ним отвечали перед своей совестью и своим народом. Талант, который мы, пока живы, не имели права отдавать на позор и поругание врагу. Это был наш талант. Талант нашего народа! И он должен остаться гордым, белоснежно-чистым даже тогда, когда уже и пепел наш ветер развеет.

В тот вечер, хотя все были до крайности переутомлены, а Пашке, готовясь к приезду бригаденфюрера, выжимал из нас последние силы, мы долго не могли заснуть. Горячо, возбужденно обсуждали положение, гневались и возмущались. Молчал только один Дмитро.

Неподвижно, будто речь шла не о нем, лежал он на спине у порога, и даже в темноте видно было, как поблескивают тусклыми ночными озерками его глаза, уставленные в усеянное звездами небо.

Верно, что-то неведомое до этого и глубоко значительное творилось с ним. И он, прислушиваясь к самому себе, к голосу своей души, взвешивал теперь всю свою жизнь, оглядывал ее сквозь глубины десятилетий. Поэтому не могли дойти до него сейчас наши самые жаркие, тревожные, но земные слова.

Только в полночь, когда мы все немного угомонились, он, углубившись в какие-то свои затаенные мысли, как бы ответил нам на все наши разговоры:

- Умираем только раз. И лучше умереть человеком, чем жить пресмыкающимся.

Потом, будто вернувшись к нам из какого-то далекого путешествия, повторил свою просьбу: сберечь его тетради и комсомольский билет, который хранится у Яринки, а тогда... когда-нибудь все это передать домой. И обо всем, что бы с ним ни случилось, рассказать Яринке при первой встрече.

Помолчав, вздохнул и уже, верно, самому себе, а не нам проговорил еле слышно:

- Ни за что не буду. Пусть хоть на огне живого жгут.

И снова затих, казалось, забылся в тяжелом, который находит и на человека с широко раскрытыми глазами, сне.

Всю короткую весеннюю ночь мы терзались мыслями, так нисколько и не отдохнув. Кажется, никто не спал, но никто и не услышал, как Дмитро ночью пытался искалечить себе руку. Где-то достал тупой заржавленный гвоздь и поранил ладонь правой руки.

Говорят, утром, когда коменданту доложил об этом его заместитель Курт Каммлер, Пашке побледнел.

Ведь этак, из-за каприза упрямого туземца, мог провалиться его блестящий замысел.

Дмитра не повели, а прямо потащили к коменданту.

Разъяренный Пашке сам осмотрел его руку и, убедившись, что рана не опасная, глубоко вздохнул и даже улыбнулся с облегчением:

- О, ничего! Рука распухла, но за день опухоль пройдет, и можно будет работать!

Ранку промыли спиртом, залили йодом и старательно перевязали. А чтобы и впредь не случалось таких неприятных неожиданностей, чтобы Дмитро снова не навредил коменданту таким образом, его вывели к лобному месту, - отвели локти назад, привязали телефонной проволокой к столбу. Пашке отыскал совсем новенький, белый, почти метровый лист дикта и собственноручно написал сверху черной, как смола, краской: "Не подходить!"

Подумал и приписал ниже, как раз посередине листа, огромнейшими буквами: "С м е р т ь!" Засунул дикт в пазы, полюбовался на свое "художество" и, проведя палкой под носом у парня, насмешливо улыбнулся:

- Ну вот. Завтра уже и рисовать будешь, упрямая скотина...

- Не буду.

- Бу-у-у-удешь! - с нажимом протянул Пашке. - Сам попросишь.

- Не дождешься, фашистская падаль!

Дмитра лишили еды, воды, сна. К нему запрещено было подходить, разговаривать, подавать хоть какие-то знаки. Был он теперь на положении важного государственного преступника, который совершил покушение чуть ли не на самого Гитлера. И каждый, кто пытался общаться с ним, считался таким же преступником и должен был отвечать наравне с ним. В каждого, кто будет подходить к столбу, к которому привязан художник, приказано стрелять без предупреждения.

И вот снова вспыхнула борьба не на жизнь, а на смерть между Пашке и Дмитром.

Дмитро стоял насмерть. К самому себе и ко всему, что происходило вокруг него, относился с холодным безразличием. Не имея ни возможности, ни сил для какогото активного физического сопротивления, парень твердо решил победить своих врагов смертью. А раз решил, внутренне подготовив себя к этому, он перестал их замечать, стал безразличным и к бешеной злобе своих врагов, и к собственным мукам и страданиям.

Пашке же нервничал. Боялся, что смерть вырвет из его рук такой, казалось бы, легкий способ к спасению.

Однако держался он спокойно, иногда даже улыбался, разыгрывая из себя этакого кота, который держит мышь в лапах, но не торопится, твердо зная, что теперь все зависит от него самого.

Все мы тоже, не обращая внимания на опасность, использовали любую малейшую возможность, чтобы хоть словом, подбадривающим выкриком, хоть обещанием помочь поднять дух товарища. Пока что только обещанием, ибо самые осторожные и самые неожиданные для охраны попытки подойти к Дмитру, поддержать и облегчить его муки хоть глотком воды успеха не имели.

Лагерная охрана снова нашла для себя в этой затяжной борьбе развлечение. Превратила ее в игру, в которой ставкой была чужая, не их смерть. Эсэсовцы отвечали выстрелами на каждую попытку приблизиться к Дмитру и даже на каждый обращенный к нему возглас.

Дмитро стоял насмерть. И чем несокрушимее и тверже закалялся его дух, тем все слабее и слабее становился он физически. Руки у него быстро затекли и онемели, ноги подкосились, а голова упала на грудь. Не знаем, не видели, что делалось с ним на протяжении целого, уже довольно жаркого дня, но к вечеру, когда мы возвратились из карьера, Дмитро уже

окончательно выбился из сил. Обмякнув, он повис на связанных руках, едва шевелил головой и время от времени, видно было, лишался чувств и терял сознание.

После захода солнца, в сумерках, когда лагерь, улица и все село затихли, с запекшихся губ Дмитра сорвался уже не сдерживаемый помраченным сознанием стон:

- Во-о-оды...

Послышалось это только один раз и, видимо, сорвалось у человека, терявшего сознание. Но и этого одногоединственного звука было достаточно, чтобы поразить каждого из нас в самое сердце. Его стон мог свидетельствовать о силе наших врагов и радовать их. Молча терпеть и видеть то, как мучается товарищ, мы уже не могли. Надо было что-то делать, обращаться к каким-то необычным, самым отчаянным мерам...

Микола-младший, которого звали так в отличие от другого Миколы-старшего, - невысокий, жилистый и еще не изнуренный парень, из тех, которых пригнали в лагерь в марте, решился открыто, на глазах у охраны, помочь Дмитру. Он наполнил водой банку из-под консервов, пригнулся, как на старте, возле ограды коровника и, улучив удобную минуту, со всех ног бросился к Дмитру через пустой, освещенный луной двор.

Гитлеровцы такой дерзости не ожидали и своевременно отреагировать на нее не успели. Первая автоматная очередь запоздала, а вторую посылать уже не было возможности. Микола успел проскочить к столбу и тесно прижаться к Дмитру. А стрелять в Дмитра или даже поблизости, рискуя его жизнью, было строго запрещено.

А пока эсэсовцы шумели, пока трое из них, толкаясь в узенькой внутренней калитке, добежали до столба, Микола успел напоить товарища.

Эсэсовцы сначала не спеша, со всей надлежащей арийской педантичностью, били Миколу кулаками, прикладами автоматов и сапогами, пока он не потерял сознание. Потом, и пальцем не тронув Дмитра, вызвали самого гауптшарфюрера.

Пашке появился при полном параде: пес, толмач, дубинка и заранее расстегнутая кобура парабеллума. Посветил фонариком в лицо Дмитра, пнул коском сапога в бок Миколу и приказал выстроить нас всех в темноте уже вдоль внутренней ограды.

Миколу Пашке расстрелял собственноручно тут же, на глазах у Дмитра. Труп приказал оставить посреди двора нам в назидание и на устрашение. Еще раз посветил в лицо Дмитру: голова Дмитра была поднята, глаза блестели - и исчез в своем помещении.

Всех нас снова загнали в коровник, заперли обе калитки

внутренней огрэды, плотно прикрыли за нами двери и выставили возле них охрану.

Теперь мы не могли помочь Дмитру решительно ничем. Даже рискуя жизнью, не могли перебросить хотя бы словом.

Парень остался один на один с врагами. Слабый, обессиленный, с полуугасшим сознанием. Единственно, что хотелось от всего сердца пожелать ему теперь, - скорой и легкой смерти.

Смерть могла прийти к Дмитру в любую минуту. Она уже проникала в него, ходила вокруг, вырядившись в мундир эсэсовского гауптшарфюрера. Можно было ждать ее вечером, ночью или к утру... И мы были готовы к этому, не ожидая и не думая лишь об одном - о том, что Дмитро сможет согласиться на предложение Пашке.

Поэтому пустой двор и голый столб - позора или славы? - поразили и напугали нас утром, пожалуй, больше, чем если бы мы увидели Дмитра мертвым.

Да... только одинокий труп расстрелянного Миколы темнел посреди пустого двора. А того, за кого Миколу расстреляли, уже не было.

Высился голый, старательно обструганный, будто отполированный, столб с большой, в целый лист дикта, табличкой:

"НЕ ПОДХОДИТЬ!

СМЕРТЬ!"

"Куда же девался Дмитро? - каждого из нас и всех вместе пронзила остро-тревожная мысль. - Умер?.. Убили?.. А может... Нет! Не может быть, чтобы он согласился!.."

13

Но... Дмитро все же согласился.

Ночью, как только нас загнали в коровник, к нему снова подошел Пашке. Посветил в лицо фонариком и тихо, почти мягко спросил:

- Так ты уже соглашаешься?

Дмитро злобно сверкнул глазами.

- Нет! - гневно, с открытым вызовом бросил он, вкладывая в этот ответ, может, уже свои последние силы.

- Хорошо... - спокойно ответил Пашке.

Он отошел от столба, остановился возле трупа Миколы-младшего, постоял, помигал фонариком и позвал переводчика.

- Гауптшарфюрер, господин Иоганн Рудольф Пашке, - в минуту выпалил толмач, - в последний раз предупреждает тебя: ты должен начать работу утром! Если же ты и впредь будешь отказываться и не приступишь к работе, комендант будет

вынужден приказать выстроить всех пленных и расстреляет на месте каждого десятого. Так будет каждый день, до тех пор пока ты не согласишься. Все. Конец. Хайль Гитлер!

Дмитро низко-низко, на самую грудь, опустил чубатую голову.

- Теперь будешь? - ткнул ему в подбородок фонариком Пашке.

Дмитро знал - эсэсовец не шутит.

Помолчав долгую минуту, он с трудом поднял непослушную голову и со жгучей ненавистью посмотрел прямо в глаза эсэсовцу.

- Бу-ду! - глухо выдавил из себя. И крепко, страшно, как только мог, выругался.

Пашке снисходительно улыбнулся и, кивнув головой, подал какой-то знак эсэсовцам.

Дмптра отвязали и, боясь оставить одного пли пустить к товарищам, затащили в караульное помещение.

К утру, отдохнув, Дмитро подтвердил свое согласие писать бесноватого ефрейтора на белом коне и выдвинул свои условия. Сводились они к требованию работать только в закрытом помещении, без свидетелей и чтобы никто не следил за его работой и не вмешивался, пока картина не будет закончена.

Довольный победой, комендант не особенно вдумывался в эти требования и не возражал. Он только добивался, проявляя в этом как свои, эсэсовские, представления о работе художника, так и нетерпение и страх перед неизбежным, что надвигалось на него в лице генерала Брумбаха:

- Три, ну четыре дня, самое большее... И смотри мне! Я тебя знаю и вижу насквозь. Но и ты меня знаешь.

Если что...

Не договорив, Пашке скрутил в руках свою резиновую дубинку.

Но Дмитра уже ничто не пугало и не удивляло. Он только сказал, чтобы ему было позволено сейчас же попросить себе в помощь кого-то из пленных. Безразлично кого, только такого, кто сам согласится ему помогать.

Утром, навестив Дмитра, все эти неутешительные новости обрушил на наши несчастные головы Степан Дзюба.

Мы долго молчали. Смотрели в землю, чтобы не встречаться взглядами. Потом кто-то тяжело, глубоко вздохнул:

- Сломил-таки, собака.

- Как это сломил? - вдруг рванулся к Дзюбе Микита Волоков. - Как это не уберегли? - Ему не хватало воздуха, и, произнося эти слова, Микита задыхался. - Иди, слышишь, Степан, иди снова к нему! - Глаза его на побледневшем лице горели, как два уголька. -

Иди и скажи... Скажи, что он... не будет этого делать... ценой нашей жизни!

- Почему ж это не будет?! Почему?! - неожиданно раздался тоненький, как иголка, визгливый голос.

И на Микиту двинулся из толпы невысокий, хрупкий человечек с большими, смертельно перепуганными и все же, на удивление, как-то по-женски красивыми, голубыми глазами.

- Как это не будет?! Почему не будет?! - тянул он на высокой ноте. - Не даю на это моего согласия! Не даю! Я не буду рисковать головой из-за какой-то там вашей прихоти! Нашлись герои! У меня, может, мать, жена, дети! Не имеете права, если я не даю на то согласие! Не хочу быть десятым! Не хочу, и вы меня не заставите! - Он сорвался и перешел на хрип. - Плетью обуха не перешибешь... Его руки от этого не отсохнут.

Люди! Но почему же вы молчите? Зачем соглашаетесь, чтобы вас убивали из-за дурной головы?!

Хриплый, истеричный визг раздражал, будоражил, взвинчивал и без того больные нервы. Вокруг человечка поднялся шум, завязался короткий, горячий спор, послышалась ругань. Повеяло холодным дыханием чего-то панического, слепого, инстинктивно-животного.

Лицо Волокова еще больше побледнело, а глаза стали вдруг колючими и сосредоточенно злыми.

- Смирно! - вдруг неожиданно на весь двор могучим, командирским голосом гаркнул он, ошеломив всех неожиданностью. - Тише! Без паники! Сябры! Нас и на фронте порой подводили трусы и паникеры! С ними нам не по пути и здесь! Кто хочет ползать перед врагом, спасать свою шкуру, кто хочет заставить нашего товарища писать портрет Гитлера, выходи сюда, вперед! Кто?! Подними руку, пусть мы все увидим в лицо паникеров и трусов! Ну?!

Он так властно и угрожающе протянул это "н"!", что шум сразу утих. Никто не вышел вперед. Никто не поднял руки. Даже тот, кто только что кричал, испугался пли забыл подтвердить свое требование движением руки. Да так и оцепенел с вытаращенными глазами и перекошенным ртом.

Микита снова обратился к Дзюбе:

- Иди, Степан! Иди и скажи, что мы запрещаем!

Слышишь, за-пре-ща-ем! Что нам лучше умереть.

Все это произошло так молниеносно, что фашисты даже не поняли, что у нас случилось. В тишине, которая воцарилась после Мпкитпных слов, слышно было, как у кого-то от глубокого дыхания тихо поскрипывает в простуженной груди.

И странно, и неожиданно прозвучал спокойный ответ Дзюбы:

- Я сейчас, Микита, в самом деле пойду к нему.

И останусь с ним. - Он зачем-то взял в своп ладони правую руку Микиты и крепко, крепко пожал ее. - Спасибо тебе, Микита. За мужественное, за искреннее слово спасибо. Но рисовать Дмитро будет. Теперь он уже должен рисовать.

Совсем сбив с толку этими словами и нас, и Микиту, Дзюба, не выпуская руки Волокова из своей, повел его, ошеломленного и покорного, в сторону от толпы, ближе к "салону смерти", на ходу о чем-то тихо рассказывая и убеждая.

Дзюба возвратился к Дмитру и остался с ним.

А вечером, когда пленные пришли в лагерь, в "салон смерти" ни одного из нас уже не пустили, приказав расположиться в коровнике или под открытым небом вдоль степы.

Дверь в "салон" была наглухо закрыта. А перед ней с автоматом на шее и проволочной плеткой в руке, сверкая на нас безумными глазами, караулил огненно-рыжий Цункер.

За дверью, верно, уже совершалось то, что наполняло пашу грудь холодом, а сердца болью, бессильной злостью и жгучим стыдом. За дверью уже начал рисовать, а может, еще только отдыхал, приходя в себя от вчерашних питок, готовясь к работе, Дмитро.

Кто-то где-то слыхал, а потом нехотя передал другим, что туда же, в "салон смерти", принесли двухметровое, натянутое на подрамник полотно, краски, кисти и еще кое-что. Что именно - нас мало интересовало. Как не интересовало и то, где взял все это Пашке. Нам было не до этого. Да и вообще не до разговоров. Молчаливые, хмурые и раздраженные, стараясь как можно меньше обращаться друг к другу, мы поспешно укладывались спать. Устроившись, сразу смыкали веки, делая вид, что уже спим. Хотя, разумеется, тревожный сон бежал от нас куда-то далеко-далеко...

Вход в "салон смерти" был категорически запрещен.

Говорили, что Дмитро выговорил себе такое право, чтобы до окончания работы туда не заходил ни один немец, ни один эсэсовец и даже сам Пашке.

Право находиться с Дмитром имел один только Дзюба. Он почти все время просиживал в помещении. Чем-то там, верно, помогал парню, носил ему еду, воду и все прочее. Показывался Дзюба во дворе очень редко, да и то только по крайней необходимости. Выходя, озабоченно спешил по своему делу, а потом снова торопливо закрывал за собой дверь. Был хмурый, молчаливый. Ничего не рассказывал и никого ни о чем не расспрашивал.

Да мы, правду говоря, не очень и приставали к нему со

своими разговорами и вопросами. Какие уж там разговоры!

Со стороны могло бы показаться, что ничто тут нас не касается, что нас просто не интересует то, что делается в нашем привычном, почти родном, который вдруг теперь стал далеким, чужим, не нашим, "салоне смерти".

В действительности же каждый из нас и на минуту не переставал думать ни о той двери, ни о "салоне", н-п о том невыносимом, позорном и возмутительном, что там делалось. То один, то другой из нас нет-нет да и бросит украдкой тяжелый взгляд на эту дверь, чувствуя себя так, будто за нею лежит близкий нам покойник, родной человек, утрата которого для нас была горькой и невыносимой.

За двое суток Дмитро ни разу так и не выглянул из "салона смерти".

Под конец третьего дня Пашке начал проявлять признаки болезненной нетерпеливости и волнения. Раз или два он даже пытался заглянуть в "салон смерти".

Дмитро предупредил его категорически и недвусмысленно: чуть только Пашке переступит порог, Дмитро немедленно, в один миг, измажет, испортит незаконченную картину, и тогда его пусть хоть стреляют, хоть вешают или хоть режут живого на кусочки. Пашке отступил, притих, но разволновался еще больше. Ему уже совсем не терпелось, его жгла тревога. Были, верно, какие-то точные сведения о времени проезда бригаденфюрера Брумбаха, которые не позволяли старшему унтеру тянуть дольше с этой картиной.

Пашке начал переговоры через Дзюбу, приказывая Дмитру как можно скорее, пусть уж как там выйдет, заканчивать портрет. Если же Дмитро затянет, то портрет запоздает и будет ни к чему. И он, Пашке, все равно покончит тогда с художником, хотя портрет и будет написан очень хорошо.

Если же... если же портрет будет закончен вовремя, то Пашке (дошел даже до того) обещал похлопотать, чтобы Дмитра, как инвалида, "незаконно" взятого в лагерь, выпустили на свободу.

После горячих переговоров, угроз, приказов и обещаний Дмнтро, наконец "поняв" комендантову поспешность, обещал работать в этот день допоздна, даже при свете фонарей, с тем чтобы хоть как-то закончить картину и показать ее заказчику на следующее утро.

Пашке, в свою очередь пообещав содрать шкуру, "если что", немного успокоился.

14

Утром, еще до восхода солнца, в лагере поднялась необычная суетня.

Как только рассвело, к Пашке в концлагерь прибыли его коллеги и друзья. Начальник жандармского поста Гессе, директор участка дорожного строительства "Тодт" - Гебль, шеф района, местный, фольксдойч Фрич, крайслandвирт Веббер и начальник местной вспомогательной полиции Цуркович.

Гости прибыли со всей своей свитой: помощниками, секретарями, толмачами. А шеф организации "Тодт", франтоватый, уже лысый и золотозубый панок, привез с собой даже какую-то высокую и страшно худющую фрау.

Все, кто собрался во дворе у комендантского дома, были заметно возбуждены, взволнованы. Переговаривались между собой отрывисто, часто посматривали то на часы, то на улицу.

Мы наблюдали за всем этим из дверей и выломанных окон коровника. Можно было, правда, подойти и к проволоке, чтобы видеть все еще ближе. Но никто из нас на это не решился, не желая быть видимым свидетелем эсэсовской победы. Конечно, зная характер Дмитра и то, что с ним все время находился Дзюба, в какое-то полное торжество Пашке мы все же не хотели верить. Но на всякий случай лучше было делать вид, что все это нас не интересует и не касается. Так было лучше, так словно бы меньше страдало наше достоинство. И мы все до одного решили не выходить из коровника.

Пашке вышел к гостям в новой, с неимоверно высокой тульей, эсэсовской фуражке и белых перчатках. Вежливо со всеми поздоровался и пригласил во внутренний двор. Переводчик вынес за ним и поставил под самой надписью: "Не подходить! Смерть!", возле "позорного"

столба, тяжелый дубовый стул. На этот стул никто из присутствующих не сел. Комендант подал какой-то знак своему заместителю, и тот открыл калитку в ограде коровника. После этого, как по писаному, рыжий Цункер распахнул, наконец, дверь "салона смерти". Дмитро и Дзюба, будто специально ожидая этой минуты, вынесли оттуда, пронеся за несколько шагов от нас и не глядя на нас, большое, двухметровое, натянутое на подрамник полотно. Несли они его обратной стороной вверх, так что рисунка ни мы, ни гитлеровцы пока что не видели.

Дмитро был бледный и ужасно худой. Смотрел он куда-то поверх наших голов, каким-то отсутствующим взглядом. В первых лучах утреннего солнца глаза его блестели холодным огнем готовой ко всему решимости.

А лицо... Глядя на это лицо, просто нельзя было поверить, что еще совсем недавно оно могло улыбаться такой искренней, широкой и теплой, почти детской улыбкой.

Рыжий ефрейтор Цункер отпер перед ними калитку и снова

запер ее. Отгороженные от нас колючей проволокой, Дзюба и Дмитро вышли на внутренний двор, поставили картину на стул, прислонив ее к "позорному" столбу. Прислонили и, отойдя на несколько шагов в сторону, остановились рядом, плечом к плечу. Вытянулись и замерли, словно окаменелые, с высоко и смело поднятой головой.

Все это мелькнуло в наших глазах и в наших чувствах чем-то подобным черной молнии. И, как от яркого света, мы на мгновение даже прищурили глаза, отшатнувшись в тень коровника.

Там, во дворе, мгновение, второе, третье, а может...

может, целую бесконечность стояла какая-то особенная, оглушающая тишина.

Разорвал эту тишину истошный, пронзительный, па одной высокой ноте, визг. Лишь на какое-то мгновение мы увидели и поняли, что истерично визжит смертельно перепуганная высокая, худющая фрау. Визжит, сжимая кулаки и исступленно топая ногами о землю. Воет так, что у нас начинает трещать в ушах. И так долго, будто в ее плоской, как доска, груди скрыт целый баллон сконденсированного воздуха.

Она визжала, не переводя дыхания, казалось, целую вечность... А мы, словно громом пораженные, неотрывно, жадно, со страхом и злорадством вглядывались в картину, наконец, поняв все...

На полотне, в лучах солнца, которое только выкатывалось из-за сельских крыш и не покрывшихся еще первой зеленью садов, ошеломляюще четко вырисовывалась недвусмысленная, поразившая всех картина. Как она была написана, мы, правду говоря, не запомнили. Но все же, кажется, Дмптро и тут старался не идти на компромисс с искусством.

Светлая, лунная ночь. Белая, заснеженная степная даль. Высокое чистое небо. Снег утоптан, усеян солдатскими трупами и мечеными белыми крестами, разбитыми и обгоревшими машинами. Посреди поля боя, на снегу, на переднем плане, в центре картины, сидит облезший, шелудивый пес. Сидит, опершись на одну переднюю лапу. Вторая - висит перебитая. Пес как пес. Только перевязан он поперек живота широкой лентой фашистского флага со свастикой. И голова у пса не собачья, а...

Гитлера. Побитый пес-Гитлер, держа в зубах кость, задрал голову, поджал хвост и тоскливо воет на яркий диск недосягаемой в высоком небе луны. По кругу луны, зубцами Кремлевской стены, выступает силуэтами букв слово "М-о-с-к-в-а"...

Дотянув крик до какой-то неимоверно безумной высокой

ноты, плоская немка наконец срывается с места и первой бросается с кулаками на Дмитра и Дзюбу. Вторым, опомнившись от ужаса и неожиданности, разъяренный, осатаневший, бросается на пленных комендант, а за ним и его гости с подчиненными эсэсовцами.

Никто не стреляет, от ярости и замешательства забыв об оружии.

Лишь остервенело, опережая друг друга, рвут, бьют, истерически дергают и терзают беззащитных пленных.

Поднимается неимоверный шум, визг, давка. Все толкаются, мешают друг другу, иногда попадая кулаком или локтем по своим.

Фигуры Дмитра и Дзюбы исчезают в клубке скрюченных злобой и истерикой вражеских тел. Шум, вопли, драка туманят нам головы, надрывают больные нервы, и мы тоже слепнем от злости и ненависти. Мы прорываемся из коровника, вслепую натыкаемся, падаем грудью на колючую проволоку, кричим, ругаемся, проклинаем гитлеровцев и швыряем в яростную вражескую толпу комья земли, палки и все, что попадает под руки.

Весь этот галдеж и истерию вдруг обрывают три неожиданно гулких выстрела. Они неожиданны не только для нас, но и для наших врагов, которые вдруг отскакивают от сшибленных на землю Дмитра и Дзюбы, затихают, смолкают, непонимающе поводя вокруг мутными, одичавшими глазами.

А посреди двора, неизвестно когда и как появившись здесь, с парабеллумом в руке, стоит низенький, сухонький человечек в генеральской униформе. Остроносое личико искажено недоброй, презрительной улыбкой, глаза черными угольками перескакивают с фигуры на фигуру.

Генерал, а это бесспорно он, грозный бригаденфюрер Брумбах, медленно засовывает парабеллум в кобуру и, на ходу сбивая со стула на землю портрет пса-Гитлера узеньким носком начищенного сапога, короткими, энергичными шагами подходит к Пашке. Безошибочно верно узнав в нем коменданта и автора "художеств", генерал поднимается на носки и с размаху бьет худеньким, костлявым кулачком в рожу гауптшарфюрера. Пашке судорожно глотает слюну, испуганно дергает головой и... покорно вытягивается...

На работу нас после всего, что произошло, не погнали. Загнали в коровник, заперли дверь и вокруг, несмотря на колючую проволоку, выставили дополнительную охрану. Держали так целый день, не давая ни пищи, ни воды.

Дмитра и Дзюбу бросили в грузовую машину и сразу же куда-

то увезли. Позднее выяснилось, что в жандармерию. Целый день, под надзором самого бригаденфюрера, их допрашивали, подвергая зверским пыткам.

Взбешенный и напуганный неслыханной дерзостью, Брумбах сразу же начал наводить порядок и в райцентре, учинив настоящий разгром всей немецкой администрации.

В районе действовала команда личной охраны бригаденфюрера. Наблюдая за их действиями, можно было подумать, что район теперь оккупирован вторично. Всю прежнюю администрацию, во главе с крайсландвиртом, начальником жандармского поста и директором конторы "Тодта", Брумбах отправил на фронт. Пашке с обоими своими помощниками за особенные "художества" попал в штрафники, лишившись не только должности, но и чина гауптшарфюрера.

В полдень за "бунт и непослушание" среди нас были схвачены десять товарищей и немедленно же расстреляны в овраге за стеной коровника. Больше десяти Брумбах расстреливать не хотел, учитывая острую потреб ность в рабочей силе на строительстве дороги. Расстреливал с холодным расчетом, приказав выбрать десятерых наиболее слабых. Таким образом, под расстрел попали самые старшие заключенные лагеря, все десять - давш:е жители "салона смерти". Теперь осталось нас только шестеро.

Перед вечером, собственноручно пристрелив на допросе в помещении жандармского поста Степана Дзюбу, бригаденфюрер вихрем исчез из района так же неожиданно, как и появился.

А вечером, совсем уж для нас неожиданно, в лагерь вернули Дмитра.

15

Его привезли на грузовике с открытыми бортами, под охраной десятка эсэсовцев и трех овчарок. Сначала хотели было снова привязать к столбу, но передумали и бросили прямо на землю. Привязывать Дмитра не было никакой необходимости. Замученный, весь залитый кровью, без сознания, неподвижно лежал Дмитро под табличкой "Не подходить! Смерть!" рядом с забытым дубовым стулом.

Вдоль ограды, от улицы и от коровника, выстроилась вся наличная в лагере вооруженная охрана: эсэсовцы, хортисты, полицаи и собаки... И тогда из дверей комендантского дома вышел и торжественно промаршировал к столбу, с высоко задранной головой и радостно-безумными огоньками в глазах, огненно-рыжий ефрейтор Цункер. На голове у него вместо пилотки была теперь огромная эсэсовская фуражка, возможно, та самая, чи торчала утром на Пашке, а на рукавах старенького

кшеля - новенькие нашивки унтер-офицера. В руке новоиспеченного рыжего унтершарфюрера была плетка Пашке, за поясом парабеллум, а за спиной - худющнй долговязый толмач. Пес, как потом стало известно, отказался слушаться нового "фюрера" и его приказу не подчинился.

Рыжий, отставив ногу и важно подперев бока реками, встал над распростертым телом Дмитра. А нас выпустили из-за проволоки и приказали цепочкой, один за другим, обойти вокруг столба.

Мы проходили мимо истерзанного товарища, низко опустив головы, как у гроба, когда отдают последний долг, хотя грудь потерявшего сознание Дмитра высоко вздымалась от болезненного дыхания - он был жив.

Глаза наши смотрели на товарища неотрывно, со страхом и слабой надеждой. Но все видели только одни его руки. Золотые, горячие руки художника.

Все пять пальцев правой руки Дмитра были напрочь отрублены. А кисть левой - изуродована так, будто ее перемололи между тяжелыми шестернями.

У запястья эти руки, с подчеркнутой педантичностью палачей, были крепко перехвачены уже набрякшими от крови марлевыми жгутами.

Когда нас снова загнали за ограду коровника, рыжий эсэсовский дегенерат, не удовлетворившись тем, что уже показал нам, решил еще произнести соответствующую случаю "комендантскую" речь. Да слушать его речь мы не хотели и не могли. Услышав первое "хайль!", все мы самовольно и решительно двинулись к коровнику.

- Хайль Гитлер! - бросал нам в спины толмач. - Новый комендант лагеря, унтершарфюрер войск СС господин Отто Цункер сообщает... совершил самое большое преступление, какое только можно представить, против рейха, фюрера и нового порядка... обманул доверие своего непосредственного начальства... Ни одно злодеяние против рейха и фюрера не можег остаться и не останется без наказания! Немецкий закон - твердый закон! Строжайший и справедливейший в мире закон! Личный доверенный нашего боготворимого фюрера, бригаденфюрер войск СС господин Брумбах строго наказал преступника, но даровал ему жизнь. Чтобы он всегда помнил о преступлении и имел возможность покаяться перед богом.

- Дмитро-о-о! Дмитро-о-о! - послышался вдруг полный отчаяния женский крик, заглушив слова переводчика. Мы остановились и встрево/кенно оглянулись.

Еще не сообразив, что и к чему, не увидев, почувствовали

уже, кто это мог быть, и замерли.

Кричала, несомненно, Яринка. Давно ожидаемая и, собственно, забытая нами в последние трагические дни, она вдруг неожиданно появилась неизвестно откуда в эту, может, самую страшную, самую напряженную минуту в жизни всего концлагеря.

Где-то о чем-то уже разузнав по дороге сюда или только предчувствуя беду, она вцепилась обеими руками в колючую проволоку, с тоской и отчаянием жалобно закричала чайкой:

- Дми-и-тро! Дми-и-тро!

Внезапно застигнутые этим неожиданным появлением, этим отчаянием девушки, эсэсовцы на какое-то мгновение притихли, даже растерялись. Но тотчас затем поднялась невообразимая суматоха, крик и шум. На какое-то время забыв и о нас и о своем новом коменданте, эсэсовцы все сразу закричали на "дерзкую" девушку, ругая ее и приказывая отойти от проволоки.

Однако отчаяние и страх за судьбу близкого человека были сильнее страха перед врагами и их угрозами. Взывая к Дмитру, дергая руками проволоку, девушка на эти угрозы и внимания не обращала. Словно и не слыхала их.

Опомнилась на какое-то мгновение, лишь когда заметила, что караульный эсэсовец у ворот спустил на нее здоровенного серого пса. Яринка опомнилась, но не отступила. Только повернулась лицом к опасности и втянула голову в плечи.

Волкодав бежал по улице вдоль ограды, по-волчьи немного бочковатый, легкими и пружинистыми прыжками. А девушка, прижавшись спиной к колючей ржавой ограде, съежившись всем телом в маленький комок, неподвижно ждала, повернувшись лицом навстречу опасности. Еще несколько прыжков... Еще два... еще один - и пес вдруг остановился перед девушкой. Нюхнул воздух, внезапно поджал хвост и, явно сбитый с толку, откровенно удивленный, постоял немного, не понимая, зачем его спускали с поводка, и неторопливо побрел назад к воротам.

Эсэсовцы, негодуя, злобно закричали, заулюлюкали.

Но волкодав так их и не послушался. Он только виновато и растерянно скулил и все больше поджимал хвост.

Натасканный охотиться за пленными, он так и не мог понять, зачем его науськнвают на человека, который никуда не бежит.

Дальше мы уже ничего не видели. Потому что нас снова загнали в помещение, закрыв не только калитку в ограде, но и двери.

Ночь напролет всех нас мучило желание хоть чем-то, хоть капелькой воды помочь потерявшему сознание, искалеченному товарищу. До самой полуночи терзал наши сердца, время от времени пронизывая темноту, надрывный, отчаянный крик

обезумевшей от тоски Яринки. Возможно, это нам тотько показалось. А может, вправду после полуночи откликнулся на ее зов и Дмитро. Откликнулся, если только это нам не послышалось, слабо, неразборчиво... И, возможно, Яринка даже услыхала его.

Потому что после этого все утихло, и почти до самого утра ни одного звука больше не долетало к нам. Только дохнуло, вдруг повеяло в наше логово из мрака сельской улицы, из-за оврага, чем-то терпким, прохладно-свежим...

Мы ощутили почти неуловимые, горьковатые запахи то ли каких-то давно забытых нами цветов, то ли свежесть первого чистого снега, а может, первых легких заморозков. Повеяло вдруг чем-то удивительно родным, милым сердцу, чем-то таким, что отозвалось в наших душах далеким-далеким детством. Всю ночь, до самого утра, терзали нас эти непостижимые, холодноватые, почти неуловимые и все же осязаемые запахи, наполнившие собой в эту ночь, казалось, весь окружающий мир.

Под утро стало прохладнее, терпкие, тонкие, свежие запахи стали еще более ощутимыми, и, наконец, в серовато-сиреневой мгле рассвета мы увидели сквозь выбитые окна и ржавую проволоку: этой страшной ночью в селе зацвели вишневые сады.

Дмитро сидел на забытом еще вчера под столбом стуле. Сидел, вытянув искалеченную ногу. Изувеченными руками обнял, прижавшись к нему грудью, столб. Низко, так, что чуб касался колен, свесил кудрявую голову.

Спал?

Охрана куда-то исчезла, и теперь уже никто не задерживал нас, когда мы выходили группами, открыв дверь и калитку, во двор.

Под плетнями и заборами, по ту сторону улицы, торопливо и далеко обходя страшное место - концлагерь, - иногда проходили сельские жители: дед с заступом на плече, молодица с вихрастым мальчиком, бабуся с кошелкой. Как и всегда, украдкой бросали они на лагерь испуганные взгляды. Но сегодня в поведении этих случайных прохожих было что-то такое необычное и тревожное, что невольно привлекло наше внимание. Бросив взгляд куда-то поверх столба, дедок неожиданно, будто ке по своей воле, остановился, постоял какое-то мгновение ошеломленно, а потом быстро-быстро заторопился дальше, время от времени опасливо оглядываясь. На деда мы не обратили внимания, так как не до него и не до улицы нам было сейчас. Но когда за дедом так же остолбенело остановилась вдруг и молодица, а потом даже бабуся, мы невольно, поспешая к Дмитру, друг за другом тоже задирали головы и глядели туда, куда смотрели люди с улицы... И тихо вскрикивали и останавливались, чувствуя, как немеют

ноги и холодеет в груди.

Замерев на месте, словно оцепенев, все мы, весь лагерь, толпой стоим посреди двора, уставившись на дикт, что был прилажен вверху на столбе еще вчерашним комендантом. Там под словом "Смерть", выведенным черной краской еще рукой Пашке, на всю нижнюю половину листа горят ярко-рыжие, неровные, тревожные буквы:

"фашистам"...

Буквы эти написаны еще свежей, едва загустевшей кровью...

Внизу, прижавшись грудью к гладкому столбу и вытянув одеревеневшую ногу, сидит на стуле Дмитро. Сидит уже застывший, мертвый.

"Смерть фашистам!" - читаем мы беззвучно, одними губами, каждый про себя и все вместе, произносим как клятву, как присягу. И низко-низко склоняем непокрытые лохматые головы.

За оградой из комендантского дома выходит во двор рыжий унтер. Но мы не хотим сейчас видеть его, не замечаем и стоим, как окаменелые, с низко опущенными головами.

Новый комендант обводит тревожно-безумным взглядом нас, улицу, мертвого Дмитра, лист дикта, надпись...

И, поняв все, не сумев скрыть своего испуга, снова торопливо исчезает за дверью.

Утреннее безмолвие, глубокая весенняя целительная тишина стоит над селом. А в этой тишине белым, удивительно чистым и нежным цветом торжественно цветут вишневые сады...

* * *

С того времени прошло уже семнадцать лет. А нам, тем немногим, кто остался в живых, и теперь верится, что тетради Дмитра когда-нибудь найдутся.

Ибо мы, к великому нашему огорчению, его просьбу так и не выполнили. Тетрадей из "салона смерти" так и не вынесли. Не посчастливилось.

Только в сентябре сорок второго года, через несколько месяцев после трагической гибели Дмитра, с помощью "Молнии" мы подготовили массовый побег.

Осуществился он не так, как планировалось, и не в тот день, на который готовился. Случилось так, что освободились мы на два дня раньше намеченного срока, использовав благоприятную ситуацию на дороге, и ни в лагерь, ни в "салон смерти" никто из нас больше не вернулся.

Не так давно мы с Волоковым навестили навеки памятное нам с сорок второго года местечко Терногородку.

И не узнали его, будто попали в совсем новый, незнакомый поселок. Совсем новые улицы, новые дома... Старые, говорят,

сожгли в сорок четвертом году при отступлении гитлеровцы. И новые, незнакомые люди...

От нашего концлагеря даже следа не осталось. На том месте теперь построена школа и разбит молодой пришкольный сад. Свежему человеку теперь и поверить трудно, что тут когда-то стоял наш кошмарный "салон смерти", кипела отчаянная борьба, лилась кровь и гибли люди. Да и вообще во всем местечке, если на него взглянуть со стороны, только один высокий гранитный обелиск над братской могилой напоминает о тех временах и о тех страшных утратах и жертвах, которые понес наш народ в борьбе за свою свободу...

Мы разговаривали со многими людьми, расспрашивали. Нам рассказали, что после нашего побега в концлагере еще мучилось и погибло много людей. Пригоняли и держали здесь пленных из других мест, держали по нескольку дней и недель огромные колонны людей, которых гитлеровцы, отступая, сгоняли с Левобережья, стремясь превратить его в зону пустыни. О нашем побеге знало и помнило немало людей Потому что о таком событии, да еще связанном с деятельностью местной "Молнии", просто нельзя было не знать и не помнить. Слух о гибели Дмитра, о том его слове, написанном на пороге смерти собственной кровью, вырвался на волю из-за колючей проволоки лишь отзвуком почти нереальной, хотя и страшной народной легенды. Легенды очень романтичной, очень сказочной для того, чтобы казаться правдивой людям, не видевшим всего этого собственными глазами.

Старого лесника, Яринкиного отца, рассказывали люди, арестовали, расстреляли, а хату его сожгли. Погибла, пропала без вести и сама Яринка. Помнили ее теперь лишь некоторые, да и говорили о девушке разное. Не только след, но и сама память о ней затерялась где-то на кровавых дорогах войны.

О тетрадях Дмитра никто там ничего не слыхал, ничего не знал и даже не догадывался об их существовании.

Но все же нам хочется верить, и мы верим, что они где-то есть, что их подобрал, спрятал и сберег какой-то неизвестный, незнакомый нам человек и они еще найдутся. Потому что не может же, в конце концов, бесследно исчезнуть человеческая душа, плод горячих людских рук, большая одаренность, а может, и по-настоящему большой талант.

А впрочем, кто сможет подсчитать, сколько одаренных, талантливых, гениальных даже бесследно сгорело в адском пламени войны и какой мерой, на какое время обворовал и обеднил все человечество фашизм?!

1959